

INSPIRIA

История
маленького человека,
заложника удачи,
основанная на реальных
событиях

ЛЮДИ УДАЧИ

НАДИФА МОХАМЕД



В переводе
Ульяны Сапциной



INSPIRIA

Надифа Мохамед

Люди удачи

Серия «Переведено. На реальных событиях»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69014098
Люди удачи / Надифа Мохамед ; [перевод с английского Ульяны
Сапциной].: Эксмо; Москва; 2023
ISBN 978-5-04-185067-8

Аннотация

1952 год. Кардифф, район Тайгер-Бэй, пристанище сомалийских и вест-индских моряков, мальтийских дельцов и еврейских семей. Эти люди, само существование которых в чужой стране целиком зависит от удачи, оберегают ее, стараются приманить, холят и лелеют и вместе с тем в глубине души прекрасно понимают, что без своей удачи они бессильны.

Махмут Маттан – муж, отец, мелкий аферист и рискованный малый. Он приятный собеседник, харизматичный мошенник и удачливый игрок. Он кто угодно, но только не убийца. Когда ночью жестоко убивают хозяйку местного магазина, Махмуд сразу же попадает под подозрение. Он не сильно беспокоится, ведь на своем веку повидал вещи и похуже, тем более теперь он находится в стране, где существует понятие закона и правосудия.

Лишь когда с приближением даты суда его шансы на возвращение домой начинают таять, он понимает, что правды может быть недостаточно для спасения.

Содержание

1. Коу[1]	7
2. Лаба	28
3. Саддех	58
4. Афар	69
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Надифа Мохамед

Люди удачи

Посвящается М.Х.М. и Л.В.

Nadifa Mohamed

THE FORTUNE MEN

Copyright © Nadifa Mohamed, 2021

Дизайн обложки © Bert Hardy/Hulton Archive/Getty Images

Перевод с английского Ульяны Сапциной



© Сапцина У., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Наф йахай ород оо, арлиги кабо оо, халкии аад ку

огэйд, ка соо ээг.

О, душа, спеши на свою родину, ищи ее там, где познала ее.

Ахмед Исмаил Хуссейн, «Худэйди», написано в заключении под стражей во Французском береге Сомали, 1964 г.

Помнишь, нос судна отсвечивал
зеленым в тропическом мраке,
сороковых переменчивость,
штормов свирепых атаки.

Запах яванских специй,
крики фрегатов и луны,
грохот якорной цепи
в хрустальных водах лагуны.

Молитв по тебе не читают,
проститься не ходят друзья,
кто знает, о чем плачут чайки,
наверно, лишь дурень, как я.

**Гарри «Товарищ по кораблю» Кук, отрывок
из «Последнего трампового судна»**

1. Коу¹

Тайгер-Бэй, февраль 1952 г.

– Король мертв. Да здравствует королева, – голос диктора доносится сквозь треск помех в радиоприемнике, лавирует между взбудораженными посетителями молочного бара Берлина так же гибко, как завитки тумана – между тоскливыми уличными фонарями, тусклый свет которых едва достигает булыжной мостовой.

Голоса утихают, звенит посуда с молочными коктейлями, колой и ирландским кофе, которой посетители чокаются друг с другом, ножки стульев скребут по черно-белым плиткам пола.

Берлин колотит ложкой по барной стойке, рявкая голосом укротителя львов:

– Поднимем бокалы, леди и джентльмены, – спровадим нашего старого короля в рундук Дейви Джонса.

– Там, в пучине, он встретит немало наших, – отзывается старик Исмаил, – так что пусть лучше в пути пишет извинения.

– Д-д-да он н-н-небось на с-с-смертном одре т-т-только их и п-п-писал, – гогочет какой-то завсегдачай.

¹ Здесь и далее нумерация глав приводится на языке сомали. (Прим. пер.)

Сквозь рок-н-ролл и шипение кофеварки эспрессо Берлин слышит, как кто-то зовет его по имени.

– *Маха тири?* – откликается он, пока Махмуд Маттан проталкивается через толпу у стойки.

– Говорю, кофе мне еще налей.

Берлин ловит за талию свою жену-тринидадку и подталкивает в сторону Махмуда:

– Лу, сваргань этому скандалисту еще кофе.

У стойки расположилось немало моряков-сомалийцев из Тайгер-Бэя; с виду они то ли гангстеры, то ли щеголи – в галстуках, с цепочками карманных часов, в шляпах-трильби. Только Махмуд в низко сдвинутом на лоб хомбурге прячет осунувшееся лицо и грустные глаза. Он молчалив, появляется и исчезает тихо и не водит компании ни с моряками, ни с игроками, ни с воришками. Когда он рядом, все крепче вцепляются в свои пожитки и не спускают глаз с его длинных изящных пальцев, и только Тахир Гасс – его недавно выпустили из психушки в Уитчёрче – льнет к Махмуду, напрашивается на дружбу, в которой тот ему отказывает. Тахир идет по дорожке, куда никто не сможет и не захочет за ним последовать, его конечности сводит судорогой от незримых ударов током, на лице, как на экране в кино, сменяются безумные выражения.

– Теперь со дня на день жди независимости. – Исмаил шумно отпивает из своей кружки и улыбается. – Индия свалила, что они скажут остальным?

Берлин изображает наглый взгляд.

– Скажут: мы держим тебя за яйца, черный! Нам принадлежит твоя земля, твои поезда, твои реки, твои школы и кофейная гуща на дне твоей чашки. Видал, что они сделали с мау-мау и всеми кикуюю в Кении? Упрятали за решетку и взрослых, и детей.

Махмуд принимает свой эспрессо из рук Лу и ухмыляется в ответ; на политику ему плевать. Пока он поправляет запонки, капля кофе стекает с ободка чашки и падает на его отполированные до блеска туфли. Выхватив платок из кармана брюк, он стирает каплю и вновь наводит на обувь лоск. Броды у него новенькие, ярко-черные, как ньюфаундлендский уголь, лучше, чем любые другие, в какие были обуты здешние парни. Три фунтовые бумажки, приготовленные для покера, жгут ему карман, – сэкономленные ценой пропущенных обедов и ночей, которые он провел, не разводя огня и коченея под одеялами. Склонившись над стойкой, он толкает Исмаила в бок:

– У Билла Хана пойдет сегодня?

– Это я-то из джунглей? Да я-то был бы не прочь, чтоб из джунглей! Я ему так сказал: ты глянь по сторонам – *вот* где джунгли, тут же повсюду кусты и деревья, а у меня на родине ничего не растет. – Закончив байку, Исмаил поворачивается к Махмуду. – А я откуда знаю? У своих братков спроси.

Раздраженно втянув воздух сквозь зубы, Махмуд одним махом опрокидывает в рот эспрессо, хватая свой бежевый

макинтош, пробирается через толпу и исчезает за дверь.

Холодный воздух шарахает его по лицу словно лопатой, и, несмотря на поспешно запахнутую одежду, стужа февральской ночи завладевает им, заставляя зубы выбивать дробь. Мутно-серое пятно нависает над всем, что он видит, – вследствие попадания ему в правый глаз осколка раскаленного угля, вылетевшего из топки. Боль была такой острой, что его подкинуло и отбросило назад, на остывающий на полу шлак. Загрохотали брошенные лопаты и кирки, остальные кочегары метнулись к нему на помощь, с трудом оторвали его пальцы от лица. От слез знакомые лица виделись ему искаженными, только глаза ярко блестели в полумраке машинного отделения, звучал сигнал тревоги, да грохотали по железной лестнице сапоги спускающегося старшего механика. А потом он с толстой повязкой на голове две недели провалялся в гамбургской больнице.

Это мутное пятно и больная спина – единственные явные напоминания о том, как он вел жизнь моряка. На борт судна он не поднимался уже почти три года, работал только на литейных заводах да имел дело с убогими котлами в тюрьмах и больницах. Правда, море до сих пор зовет, громко, как чайки, мечущиеся в небе над ним, но Лора и мальчишки яко-рями держат его здесь. Мальчишки с внешностью сомалийцев, несмотря на валлийскую кровь их матери, – они цепляются ему за ноги, голосят «папа, папа, папа», заставляют его наклонить голову, лохматят напوماженные волосы, и от их

звучных поцелуев его щеки еще долго пахнут шербетом и молоком.

На улицах тихо, только вести о смерти короля долетают со стороны рядов низких, продуваемых ветрами домов, мимо которых он проходит. Приемники передают новости не в лад – одни быстрее, другие с секундным отставанием. Минувя лавки на Бьют-стрит, он видит, что кое-где еще горит свет: в ломбарде Зюссена, куда заложено много чего из его одежды, в парикмахерской того киприота, где ему подравнивают волосы, у Волачки, где раньше он покупал матросское снаряжение, а теперь разве что изредка прихватывает платье для Лоры. Высокие шикарные окна в заведении Кори запотели, за стеклами в свинцовом переплете смеются и танцуют смутные фигуры. Он суется в дверь проверить, нет ли там кого из его постоянной компании, но лица вест-индийцев у бильярдного стола ему незнакомы. Когда-то и он принадлежал к целой армии работников, свезенных со всего света, собранных для замены тысяч флотских, потерянных во время войны: докеров, тальманов, мотористов, стивидоров, лебедочников, люковых рабочих, черпальщиков, элеваторщиков, машинистов погрузчиков, такелажников, диспетчеров, бригадиров, портовых сторожей, рулевых, паромщиков, маневровщиков, лоцманов, буксирщиков, шлюпочников, пресноводников, кузнецов, портовых конторщиков, складских рабочих, замерщиков, весовщиков, экскаваторщиков, грузчиков, стапельщиков, шкиперов, крановщиков, рабочих уголь-

ного склада и его товарищей, кочегаров.

Махмуд отворачивается от роскоши ресторана Кори с его венками и портиками к докам, красная дымка от которых оттеняет сырое, несваренное небо. Ему нравится наблюдать еженощное индустриальное представление: грязная морская вода словно вспыхивает, когда чаны с морщинистым, раскаленным добела печным шлаком со сталелитейного завода «Ист-Мурс Стилворкс» опрокидывают в набегающий вечерний прилив. Железная дорога на насыпи затапливаемого приливом берега лязгает и скрипит, вагонетки снуют туда-сюда между изрыгающими дым трубами сталелитейного завода и сердитым морем, над которым поднимается пар. От этого зловещего и завораживающего зрелища у Махмуда всякий раз захватывает дух; он ждет, что вот-вот из бурлящей и шипящей воды в нефтяных разводах поднимется остров или начнет извергаться вулкан, но она всегда остывает и к утру возвращается к угрюмому темному единообразию.

Доки и Бьюттаун занимают всего одну квадратную милю, но для Махмуда и его соседей это целая метрополия. Она поднялась из болотистой низины столетие назад, один шотландский аристократ построил доки и назвал улицы в честь своей родни. Махмуд слышал, что первый в мире чек на миллион фунтов был подписан в здании Угольной биржи. Даже сейчас, рано утром, работники совсем иного рода в шляпах-котелках приходят на работу в Управление торгового флота или таможеню. И в управлении, и в профсоюзе моряков

важно знать, в какую дверь войти, если не хочешь нарваться на неприятности, и это относится как к белым, так и к чернокожим работягам. За пределами финансового округа этот район для всех, всех соседей окружают и теснят железнодорожные ветки и каналы, отрезающие их от остального Кардиффа. Лабиринт коротких мостиков, шлюзов на каналах и трамвайных путей озадачивает новичка; незадолго до времени Махмуда сомалийские матросы надевали на шеи таблички с адресом своего ночлежного дома, чтобы прохожие помогали им не сбиться с пути. Каналы заменяют детям площадки для игр, и однажды, когда двое детей пропали, Махмуд провел тоскливую бессонную ночь, пытаясь отыскать их в мутной воде. Их нашли утром – одного белого, одного черного; оба утонули. Но его мальчишки еще слишком малы, чтобы бродить где попало, *альхамдулиллях*. Однажды, когда они подрастут, он покажет им этот портовый город с его норвежской церковью и кошерной скотобойней, с кранами, грузовыми стрелами и дымящими трубами, с бревенным бассейном, креозотовыми мастерскими и скотными дворами, с тремя широкими магистралями – Бьют-стрит, Джеймс-стрит, Стюарт-стрит, – перекрещенными неуклонно суживающимися улицами со сплошными рядами домов. Флаги и трубы грузовых судов со всего мира, теснящихся у пирса и выстроившихся вдоль всего портового бассейна.

Махмуд мысленно строит планы на будущее, но теперь, побежденный пронизывающим холодом, пробирающимся

между пуговицами плаща, решает отказаться от еще одной ночи покера и направляется домой в Адамсдаун, где горит истинный огонь его жизни.

Вайолет тяжело опускается на деревянный стул и ждет, когда Дайана накроет на стол.

– А где Грейси?

– Заканчивает дополнительные задания, спустится через минуту.

– Как по мне, слишком уж много она занимается, Дай, у нее даже личико осунулось.

– Не смейся, она почти ручкой бумаги не касается, целыми вечерами перебирает мои туфли на шпильках и джазовые пластинки. Я поднималась поторопить ее, а у нее лицо намазано «блеском заката» от «Макс Фактор». Эта девчонка думает, что уже готова покорять Голливуд.

– Уборщица говорила, что, когда меняла ей постельное белье, нашла у нее под подушкой фото Бена в летном комбинезоне.

– Знаю. – Улыбка становится напряженной, Дайана отворачивается от Вайолет.

Та пожимает ей руку выше локтя.

– Крепись, сестра. *Койех*.

– Спускайся, Грейс, мы тебя ждем! – Дайана кричит, повернувшись к подножию лестницы, снимает передник и вешает его на спинку своего стула. Фунты, набранные за время

рождественских каникул, еще видны на ее мускулистом теле, платье-футляр натянулось на спине. Черные волосы мягкими волнами падают на плечи; ей надо бы подстричься, но Вайолет нравится как есть – такая прическа придает облику ее сестры средиземноморский оттенок.

– Ты прямо вечный двигатель.

– Не от хорошей жизни, можешь мне поверить. Мэгги велела Дэниелу привезти нам курицу, столько у меня было клиентов. И все до последнего старались поставить деньги на лошадь, хоть как-нибудь связанную с королем – с кличками Его Величество, Балморал, Букингемский Дворец. Не знаю, то ли это их способ выразить уважение, то ли просто суеверия, но раньше я никогда такого не видела.

– А я видела, как один из них обналичил свою авансовую записку у меня и отправился к тебе. Как говорится, деньги у дурака...

– О, это бедолага Тахир, у него с головой не в порядке. Один матрос рассказывал мне, что с ним, как он выразился, дурно обращались итальянские солдаты в Африке. А мне Тахир говорил, что он король Сомали и тысячами убивал людей на войне.

– И на какую лошадь он поставил?

– На Императрицу Индии, – говорит Дайана, широко раскрыв в смехе краснотубый рот. – Наверное, принял ее за свою жену.

– Боже правый. Дай-ка я быстренько помою руки. – Вай-

олет улыбается, оглядывая накрытый стол: жареная курица, маринованные огурчики, отварной картофель, морковь с красным луком и свеклой, горка булочек с маком. Вернувшись от раковины, она вынимает ступни в чулках из черных ортопедических туфель на шнурках, потягивается, распрямляя извилистый позвоночник, сколиоз которого исковеркал, как головоломку, ее грудную клетку и лопатки. Она бледнее Дайаны и Мэгги, ей досталось отцовское лицо – вплоть до глубоких морщин с обеих сторон рта; о монашеском целомудрии говорит и ее платье, и розовые щеки. Волосы все еще темные, но над негустыми бровями в них намечается седеющий «вдовый мысок». Вайолет производит впечатление женщины, которая всегда выглядела старше своих лет и теперь готова вселиться в тело, предназначенное именно ей, скромной кардиффской лавочнице.

– Включи приемник, Дай, хочу дослушать новости. Только представь, принцесса Елизавета – то есть *королева* Елизавета – возвращается, зная, что ей придется отказаться от скромной и тихой жизни с мужем и детьми, чтобы взойти на трон.

– Ее никто не *неволит*. Может просто остаться в Кении и объявить, что монархии пришел конец, мне-то что.

– У тебя нет представления о чувстве долга. Как она может, если целая страна – да что там, целая империя – ждет ее?

– От тебя, папина дочка, я ничего другого и не ждала. Об-

хочешь с тобой, Вайолет, па оставил тебе эту лавчонку, а ты приняла ее так серьезно, будто от него тебе достался целый мир. Так и вижу твое лицо в газетах, когда ты произносишь торжественную клятву править домом 203 на Бьют-стрит, прилагая все старания и уповая на помощь Господа Вседержителя.

– Эта лавка – вся моя жизнь, и, если бы я просто продала ее еще в сорок восьмом, что хорошего было бы в этом для нас? Для вдовы, старой девы и малышки, вынужденных кочевать из дома в дом и менять одну работу за другой?

– Мы могли бы уехать в Лондон или Нью-Йорк.

– И опять начать с нуля? Нет, Дайана, это ты еще достаточно молода, чтобы выйти замуж и родить еще детей. А я не могу.

– Еще как можешь. Если не детьми обзавестись, то замуж выйти уж точно.

– И что мне теперь, перебирать мошенников и прохиндеев, которым нужна не я, а моя лавка?

– Ладно, ладно. Дело твое. – Дайана жестом капитуляции скидывает руки, а потом рявкает во всю мощь голоса: – Грейс! Сию же минуту чтоб была здесь.

– Иду!

– Вот и иди скорее! Тетя Вайолет устала, еда стынет и портится.

На винтовой лестнице слышится топот, а потом возникает Грейс – средоточие миров их обеих, четыре фута пять дюймов.

мов чистейших надежд и обещаний.

Расцеловав Дайану и Вайолет в щеки, она, вихляясь, садится на стул. Еще недавно нежное и округлое, личико Грейс постепенно меняется: подбородок становится квадратным, как у Бена, нос приобретает изящный изгиб, как у Волацки. Десять зим и десять лет без него, думает Дайана, украдкой поглядывая на веснушчатые щеки дочери.

– Сделала хоть какие-нибудь задания к экзамену, лапочка? – спрашивает Вайолет, нарезая курицу и перекладывая три куска в тарелку Грейс.

Грейс с аппетитом кусает булочку и проказливо улыбается.

– Знаешь, тетечка, я начала, но потом...

– Мм? – Дайана закатывает глаза. – Моя косметичка оказалась гораздо интереснее?

– Напрасно ты ее оставила, мама, – знаешь ведь, как легко я отвлекаюсь.

– Ох и хитрюга ты, Грейси, – смеется Вайолет.

Ведущий радиопередачи словно сидит четвертым с ними за столом; кажется, что этот звучный мужской голос из Лондона облачен во фрак, белый галстук-бабочку и классические туфли с Бонд-стрит. Звяканье ножей и вилок вплетается в торжественную хоровую музыку и звон колоколов повсюду, от Биг-Бена до средневековой церквушки на самом дальнем из Гебридских островов. Вся страна за пределами их столовой погружена в траур, звезды скорбно застыли в небе, луну

заволокли саваном черные тучи.

– Отнеси посуду на кухню, Грейс, и готовься ко сну.

– Хорошо, мама. – Грейс допивает залпом малиновый напиток, потом набирает в руки столько тарелок, сколько может унести, – она видела, как делают это официантки в кафе Бетти.

– Носи по одной, все сразу не унесешь, – останавливает ее Дайана, отбирает часть тарелок и следует за Грейс в кухню.

Вайолет не терпит рухнуть в постель и уснуть, но надо еще подсчитать дневную выручку, запереть переднюю дверь – на верхний и нижний засов, два обычных замка и еще один, американский, – затем запереть заднюю дверь и только потом унести кассовый ящик наверх, в свою спальню. Груз предстоящих дел придавливает ее к стулу, она не сразу, но все же заставляет себя встать и машинально бредет в лавку, прилегающую к столовой.

Даже в такой поздний час сквозь стену из соседнего мальтийского ночлежного дома доносится музыка – рок-н-ролл с вкрадчивыми саксофонами и настырными барабанами, – и Дайана дубасит кулаком по штукатурке, чтобы сделали потише. Во время войны она состояла в женской вспомогательной службе ВВС и от взрыва слегка оглохла на одно ухо, но музыка у мальтийцев ревет так громко, что и мертвого поднимет. Дочь уже в постели, Дайана переодевается в ночнушку и ложится под стеганое пуховое одеяло, крытое шелком.

Одеяло подарила ей на свадьбу Вайолет, один его угол до сих пор почему-то пахнет одеколоном Бена. Ночь всякий раз затуманивает его отсутствие. Дайана достает из-под подушки его дневник, держит маленький голубой блокнот осторожно, чтобы не выпали страницы. При свете лампы они становятся почти прозрачными, а его мелкий ровный почерк будто повисает в воздухе, как вереница стрекоз. Дважды моргнув, она приближает дневник к глазам, чтобы строчки не мельтешили. Записи в дневнике перестали восприниматься как слова мертвеца, а вернули ей веру в то, что он до сих пор там, в Египте: укрывается от песчаных бурь, бродит по восточным базарам Суэца и Бардии в поисках сувениров, чтобы было что привезти домой, совершает ночные вылеты на «Веллингтонах» вместе с «ребятами» – товарищами по 38-й эскадрилье. До войны она и не подозревала, что у него прекрасный слог. Даже дни, когда ничего не происходило, заполненные чтением подвернувшихся под руку книг, он описывал так, что она ощущала изнуряющую духоту его палатки. Теперь опустевшие позиции итальянских войск, усеянные брошенными грузовиками, мотоциклами, сапогами и биноклями, знакомы ей, как аттракционы на ярмарках паровых машин ее детства. Ртутное свечение средиземноморских вод при полной луне заняло больше места в ее воспоминаниях, чем взбухающее волнами Ирландское море.

Вайолет требуется мгновение, чтобы понять, что это за

звук. Худший из ее кошмаров еще свеж в памяти, в голове теснятся видения: руки молотят в окна синагоги, пламя охватывает белое строение целиком, в ночном небе синими и зелеными сполохами переливается северное сияние, крики мужчин, женщин и детей взмывают к этому небу и остаются неслышанными.

Сигнализация.

Трезвон сигнализации.

Но не по тем, кто погибал в синагоге, а для нее, в ее собственном доме. Она рывком садится на постели и хватается за голову, ее сердце колотится громче металлического лязга охранной сигнализации. Сунув ступни в шлепанцы, она хватается с туалетного столика серебряный подсвечник и зажигает все лампы. На лестничной площадке слышатся шаги, она крепко хватается за дверную ручку, и ей кажется, что вот-вот упадет в обморок. Проще было бы умереть потихоньку здесь, думает она, чем сталкиваться лицом к лицу с тем, что ждет за дверью. Прижавшись к двери лбом и зажмурившись, она медленно поворачивает ручку.

– Все в порядке, Вайолет, окно разбито, но внизу никого нет, – перед дверью стоит Дайана с фонариком в кармане пальто и с молотком в каждой руке. При виде бескровного лица сестры бросается к ней и обнимает. – Только не впадай в такое состояние, сестра, все хорошо. Кто бы это ни был, он удрал.

Дрожа, Вайолет цепляется за Дайану и пытается собрать-

ся с духом; дело не только в этом взломе, или предыдущем, или в том, который случился до того, но и в письмах, которые кладут на коврик у двери, в письмах с перечислением родственников, убитых в Восточной Европе. Имена из ее детства, которые она едва помнит, образы, которые она с трудом может отождествить с черно-белыми семейными фотографиями, всплывающими в ее снах, – они окружают ее обеденный стол, просят еще еды, еще воды, приютить их – очень, очень просят, – умоляют ее по-польски, *кузин, очал мнье*, кузина, спаси меня. Нигде уже не возникает чувства защищенности, словно мир пытается разделаться с ней, с ней и с подобными ей, прокрадывается через запертые двери и окна, чтобы похитить жизнь из их легких. Аврам мертв, Хая мертва, Шмуэль мертв. В Литве, в Польше, в Германии. Все больше и больше имен появляется на памятной табличке в храме. Во все это не верится до сих пор. Как могло случиться, что их всех не стало? Писем от Волацки из Нью-Йорка и Лондона накапливалось все больше, но смысла в них оставалось все меньше – слухи о том, кто погиб, где, когда и как, непрекращающийся ручеек смертей и совсем немного радостных вестей, втиснутых в самом конце, – кто-то родился в Степни, кто-то закончил учебу в Бруклине.

– Которое окно? – наконец спрашивает она.

– То маленькое сзади. Утром мы позовем Дэниела, пусть заложит его кирпичами. А пока я придвину к нему ящики. Ну же, иди к Грейси, а я тут покараулю.

Послушно кивнув, Вайолет прокрадывается в спальню племянницы и ложится к ней в постель; обнимая спящего ребенка, она чувствует себя даже меньше и уязвимее, чем Грейс. На полу возле кровати валяется географический атлас, Вайолет дотягивается до него, листает; мелькают страницы, расцвеченные краснотой Британской империи. В последнее время ей пришлось так много узнать о мире, выучить названия мест, которые казались вымышленными: Узбекистан, Кыргызстан, Маньчжурия. Сильные молодые мужчины и женщины, скрывшиеся в лесах и пережившие Гитлера, рассеялись и бежали, бежали, бежали от катастрофы, все дальше и дальше на восток, словно намереваясь спрыгнуть с края земли. Работой старых дев, не имеющих таких оправданий, как мужа и семьи, было собирать этих неприкаянных и заплутавших, общих детей, не доверяющих никому, но берущих все, что дают. Она отправляет деньги этим дальним родственникам и даже их нуждающимся друзьям через банки в Амстердаме, Франкфурте, Стамбуле, Шанхае, никогда не зная, дойдут ли эти деньги до них вовремя и образумятся ли эти люди и вернутся ли в лоно цивилизации, если такая еще *осталась*. Вайолет роняет атлас на пол. Ритм дыхания Грейс успокаивает ее, но не настолько, чтобы усыпить; она чутко прислушивается к тому, как Дайана внизу замечает битое стекло, как ступают по половицам ее ноги, крепкие и бесстрашные, пока наконец она не поднимается по лестнице, когда уже начинается утренний щебет птиц.

Дэниел приходит, пока они завтракают, и ночные ужасы скрадываются домашними уютными запахами кофе и тостов. Вайолет краснеет, когда он тянется, чтобы схватить корочку от тоста с ее тарелки, его голос с иностранным акцентом приводит ее в трепет, медвежье тело заполняет столовую. Она украдкой бросает взгляд на его бледное лицо с широко расставленными глазами, теряющееся в черной шерсти бороды и под каракулевой шапкой; в усах застряли крошки. Muskusный запах одеколona исходит от его сырого овчинного тулупа, когда он стаскивает его с плеч и вешает в коридоре. Дэниел – собственность Мэгги, их средней сестры, но вождление и зависть прокрались в сердце Вайолет. Ее тело охватывают желания такой силы, каких она раньше никогда не испытывала, и Дэниел – их средоточие, его рослая и широкоплечая фигура словно склеп для ее надежды когда-нибудь выносить детей. Им полны ее грезы наяву – его губами, его руками, его розовыми сосками, похотливыми, похожими на малину на фоне белоснежной кожи. Жар в ее чреве вдруг вспыхивает, прежде чем перемены успевают увести его еще куда-нибудь. Она с нетерпением ждет, когда все кончится, – что угодно лучше этой безнадежной, девчоночьей влюбленности в человека, который видит в ней только сестру.

– Мэгги беспокоится за вас, девочки, – думает, у лица чем дальше, тем больше портится. Сколько ни твердил ей – ничего, это издержки дела, – а она, как клуша, раскудахталась

сегодня утром и все ходит, ходит из угла в угол. Хочет, чтобы я раздобыл вам ружье! – Дэниел придвигает стремянку и вынимает остатки стекла из оконной рамы. – Мелкий, должно быть, он был, если думал, что пролезет в такое окошко.

Он стоит спиной к Вайолет, и она не может не глазеть на его ягодицы, напряженные под брюками. Но быстро отводит взгляд, заметив, что Дайана улыбается ей.

– Это ни к чему, – отвечает Дэниелу Дайана. – Мы с Вай сошлись во мнении, что пырнуть ножом грабителя не смогли бы, но уж оглушить чем-нибудь – наверняка. Прошлой ночью Вай появилась из своей комнаты, вооруженная подсвечником, и наверняка сделала бы из него котлету.

Дэниел раздражается гулким смехом, а дальше слышится только шорох замешиваемого раствора, скрежет металла по камню и постукивание кирпичей, которые подгоняют, укладывая один на другой. Освещенный прямоугольник быстро исчезает, воздвигается еще одна преграда между миром и Вайолет.

После того как Дэниел удаляется к себе в магазин мужской одежды, который он держит вместе с братьями на Черч-стрит, Грейс целует их на прощание и уходит в начальную школу Святой Марии, до которой несколько минут пешком – она находится рядом с церковью, где крестят, сочетают браком и отпевают большинство местных жителей. Дайана в качестве местного букмекера ставит свой стол в маленьком и сыром флигеле во дворе, включает радио, чтобы следить

за главными событиями дня на бегах. Ее ногти, покрытые таким толстым слоем алого лака, будто их обмакнули в винил, – единственное яркое пятно в помещении. Лицо в течение дня будет постепенно становиться накрашенным все ярче, как снимок проявляется в темной комнате, пока к пяти вечера вид у нее не окажется таким, что хоть сейчас на красную ковровую дорожку; преобразование из молодой вдовы в престарелую кинозвездку завершено. А Вайолет обычно вообще не делает макияж, и не красит ногти, и носит простое темно-синее платье длиной до икр и серебряный армейский значок отца, приколотый к лифчику для храбрости.

Одна из витрин по-прежнему сохраняет такой же вид, как при их отце; ее заполняют дорогие готовальни и плоские фляжки, инкрустированные слоновой костью, которые их покупателям не по карману, но все же отличают их магазин от других на той же улице. Остальное пространство в заведении Волацки забито дешевым и ходовым товаром: висящими на крюках высокими резиновыми сапогами, черными школьными парусиновыми туфлями на резиновом ходу, втиснутыми в тесные гнезда деревянных полок, воздушными ситцевыми платьями на вешалке у самой двери кладовой, шерстяными одеялами, завернутыми в папиросную бумагу и хранящимися на верхних полках. В глазах Дайаны эта лавка – «дурдом», место безумия, система которого известна лишь Вайолет, вокруг которой товар громоздится небольшими и неустойчивыми стопками. Она продает но-

жи, бритвы, веревки, непромокаемые кепки и плащи, добротные, прочные рабочие ботинки, матросские вещмешки, трубки, табак курительный и нюхательный, но основной доход приносит обналичивание авансовых платежных расписок отплывающих матросов. В глубоких лотках массивной ручной кассы за день скапливается больше сотни фунтов – и к ним прикасается только Вайолет, – не говоря уже о сейфе и ящике, где она держит крупные купюры. Последние покупатели прибегают уже после официального часа закрытия, негромко, но нетерпеливо стучат в стеклянные панели, чтобы купить срочно понадобившуюся коробку спичек или сигареты; если все по мелочи обходят закон, жить становится проще.

2. Лаба

Рассыпчатый, мраморный от жира кошерный фарш начинает шипеть и подрумяниваться на сковороде, и Махмуд всыпает в масло чайную ложку порошка чили. В Восточном Лондоне он постоянно покупал кошерное мясо, потому что хороший мясник нашелся прямо по соседству, через несколько дверей, а кошер в религиозном отношении ничем не хуже *халляля*, но теперь почему-то он и на вкус нравится Махмуду больше. Поднося к носу специи с загадочными этикетками на хинди, он выбирает зиру, куркуму и имбирь – неплохо – и посыпает баранину чайной ложкой этой смеси. Часть фарша он съест на обед с гарниром из сладкой консервированной кукурузы, а другую часть смешает вечером с остатками риса. Поесть получше сейчас ему все равно не удастся, хоть он и научился варить, жарить и парить, пока был помощником корабельного буфетчика, а печь – за время мелкой кухонной работы в сомалийской ночлежке, где снимал комнату в прошлом году.

Махмуд до сих пор не может смириться с тем, что он все-го-навсего еще один никому не нужный неухоженный мужчина, которому приходится есть, поставив тарелку на колени, в одиночестве холодной съемной комнаты. Он всегда помогал Лоре на кухне – кто еще из мужей согласился бы на такое? А ему пришлось, потому что она понятия не имела,

какой должна быть по-настоящему вкусная еда; и он сумел обучить ее пользоваться травами и специями, но морковь у нее по-прежнему получалась недоваренной, пюре – жидким, мясо – сухим и жестким. И вот теперь еда стала еще одним делом, с которым ему приходится справляться самому, своими силами. Все сам, своей проклятой рукой.

Махмуд вынужден напомнить себе, что *ненависти* к Лоре он не испытывает. Что без нее ему *не было бы лучше*. Что красным от ярости мыслям, которые всплывают у него в голове, когда он бродит по улицам, – и твердят, что сиськи у нее слишком маленькие, задница слишком плоская, лицо слишком вытянутое, – он на самом деле не верит.

Лора посадила его на якорь в точке с этой долготой и широтой. В этом доме – с чернокожими мужчинами, с которыми его не объединяет ни язык, ни культура, ни религия, – он живет лишь для того, чтобы приглядывать за ней, поддерживать с ней отношения, пока она не образумится. Он следит, с кем она водит компанию, и каждые несколько дней переходит через дорогу, чтобы проведать сыновей. Во многих отношениях это шаг вверх по сравнению с той паршивой сомалийской ночлежкой, откуда его прогнали после случая в мечети. Здесь у него своя комната с замком на двери вместо общего чердака, заставленного походными койками. И ему не надо целыми ночами терпеть кашель, разговоры и слушать, как капает с мокрого белья, развешанного на веревках под потолком. Все остальные моряки там были лентяями и по

утрам валялись в постели, ожидая, когда кто-нибудь другой жарко растопит печку. Махмуд помнит пожелтевший список правил, приколотый высоко к стене, – их Варсаме зачитал ему, а потом велел собирать манатки.

«1. Смотритель ночлежного дома для моряков не должен продавать спиртные напитки, или принимать участие в торговле ими, или же участвовать или быть заинтересованным в делах кастаньяна, экипировщика или лиц, ведающих прочим довольствием матроса.

2. Санитарный врач, представители торговой палаты и полиция имеют право доступа и инспектирования его помещений в любое время.

3. В спальнях он должен предоставлять каждому лицу не меньше 30 кубических футов пространства и ни в коем случае не размещать больше жильцов, чем разрешено Советом.

4. Он обязан следовать определенным правилам, касающимся санитарных условий, ватерклозетов и умывальников, а также общей гигиены. На видном месте он обязан вывесить копию городских постановлений, имеющих отношение к вышесказанному, а также свою тарифную сетку и не запрашивать плату, превышающую указанную в этой сетке.

5. Он обязан не селить в своем ночлежном доме или своевременно выселять из него любого вора, человека с репутацией вора, проститутку или человека с репутацией проститутки, а также любое безнравственное или непорядочное ли-

цо».

Когда Варсаме дошел до этого последнего правила, Махмуд рассмеялся. Стало быть, он ничем не лучше проститутки? *Аджиб*². Он уложил вещи, покинул свои тридцать кубических футов пространства и в тот же день перебрался к Доку.

Красный кирпич и стекло в свинцовых переплетах, вонь хлорки и крушения надежд. Бирже труда присуща атмосфера церкви; объявления о вакансиях подрагивают на стене, как бумажные молитвы, и скаредные муниципальные служащие выдают государственные пособия с надменностью священников, вкладывающих облатки в рот нуждающимся. Оставшиеся не у дел горняки, докеры, шоферы, разнорабочие, грузчики, слесари и заводские рабочие беспорядочно толпятся, стараясь не смотреть друг на друга. Сосновые половицы все в выбоинах от тяжелых рабочих ботинок, особенно рядом со стойкой, и усеяны спичками и окурками.

«Требуется сварщик»

«Не менее чем десятилетний опыт обязателен»

«Не достиг 21 года?»

«Профессиональное обучение»

«Требуются плотники»

«Работа могильщика»

² Чудно, странно (*ар.*). (*Прим. пер.*)

Сунув руки поглубже в карманы спортивного пиджака, Махмуд переходит от одного объявления к другому, ищет, не нужен ли кому-нибудь рабочий в котельную или на литейный завод. В кармане у него одна мелочь, остальное просядил в покер. Ничего стоящего, не за что даже братья; ни одна компания, обычно с гарантией нанимающая цветных, не объявила о вакансиях. Он еще раз смотрит на объявление, в котором ищут могильщика. Это на Западном кладбище, жалованье вполне сносное, но, едва подумав, как будет ворочать лопатой тяжелую сырую землю и фаршировать ее окоченевшими трупами, он качает головой и бормочет: «*Астагхфируллах*»³.

Надвинув пониже на лоб хомбург, он берет желтый талон с отштампованной на нем цифрой «девять» и ждет своей очереди к стойке рядом с толстыми витками радиатора. Жар от раскаленного чугуна прожигает тонкие брюки и раздражает кожу, ощущения – нечто среднее между удовольствием и болью, и он раскачивается телом туда-сюда, чтобы тепло шло вверх и рассеивалось. Хозяева трампа, на который он нанялся в прошлый раз, установили новые котлы, и в белом свете топков все медные фитинги сияли, как золотые. Он отступал на шаг, чтобы полюбоваться разгоревшимся пламенем, потом подбрасывал еще угля и делал из белого света чуть ли не мыслящий бесцветный газ, который устремлялся вглубь и вверх по дымоходу, как *джинн*, удирающий из

³ Дословно «ищу прощения у Аллаха». (Прим. пер.)

лампы. А сам он порождал этот огонь и растил его от желтого до оранжевого, потом до белого и голубого, пока наконец он не приобретал цвет, не имеющий названия, только энергию в чистом виде. Он гадал, каково было бы сделать вперед шаг, отделяющий его от этой энергии, и не спадет ли его кожа с плоти целиком, как в аду – *кадаабка*. Этот огонь воспитал его, сделал из хилого помощника буфетчика оплетенного мускулами кочегара, с опаленным и почерневшим от угольной пыли лицом, способного часами напролет нести вахту у адских врат.

– Вызывается талон номер девять.

Махмуд занимает стул перед четвертым окошком стойки, кладет шляпу на колено и протягивает серое удостоверение личности.

Женщина перед ним одета в коричневый твидовый костюм, губы накрашены темно-бордовой помадой, волосы собраны в большой пучок под сетку. Она смотрит на Махмуда поверх очочков в проволочной оправе.

– Чем могу помочь, мистер Маттан? – осведомляется она, изучая его удостоверение.

– Мне нужна помощь от государства, для меня нет хорошей работы.

– Какую работу вы умеете делать? – спрашивает она, растягивая каждое слово.

– Работу кочегара. В каменоломне.

– Посмотрим, не найдется ли у нас объявлений, которые

мы еще не успели вывесить.

Она просматривает папки сбоку на перегородке; держится она вежливо, уж получше других служащих, которых он, похоже, раздражает, о чем бы ни просил – о работе или по собии по безработице.

– Есть тут одно место в литейной мастерской, но вряд ли вы подойдете, – говорит она, умалчивая об остальном.

Он встречается с ней взглядом и подавляет горькую улыбку.

Женщина ставит штампы в его удостоверение там, где надо, и отсчитывает два фунта и шесть шиллингов.

– Хорошего вам дня, мистер Маттан.

– И вам, мадам.

Махмуд встает, убирает фунтовые купюры в бумажник, надевает шляпу и покидает меланхоличную атмосферу биржи ради взбудораженного топота и гула над скаковым кругом.

Дерн в Чепстоу здорово взрыт; под морозящим дождем в воздух поднимаются запахи земли, травы и конского навоза. У Махмуда на собачьих бегах выдалось напряженное утро, но полегчало теперь, когда он переключился на лошадей. Копыта грохочут, земля трясется, его сердце колотится, другие игроки вопят или шепчут: «Давай же, давай!» Он ахает, едва какой-то всадник вылетает из седла, а потом – ни единого вздоха, когда его лошадь вырывается из волны перекаты-

вающихся мускулов и грив и мчит, мчит, мчит, кинжально выставив вперед голову, пока не пересекает финишную черту. Изорванные корешки билетиков на ставки, пущенные по ветру, как конфетти, подтверждают, что он в числе немногих, кто догадался рискнуть и поставить на этого жеребца, выигрыш – больше десятка фунтов на лошадь с вероятностью двадцать к одному. Махмуд поменял ставку в последний момент, мельком увидев того коня на площадке перед стартом: животинка была красивая, вороная, и Махмуд готов был поклясться, что кивнула ему, пока конюх проводил ее мимо. И кличка удачная – Абиссинец. С кличками на «а» ему всегда везло, вдобавок в Абиссинии он бывал – еще один знак. Надо почаще налегать на «а», думает он. До сих пор он выигрывал, делая ставки на:

Ахтунга

Амбициозную Дэйзи

Апача

Артиста

Ангельскую Песнь

Артуа

Аркианзасскую Гордость

Атлантическую Пирушку

Надо бы ему поскорее отдать пять фунтов Доку Мэдисону за жилье, комнатку на Дэвис-стрит, пока деньги не утекли между пальцами и старый скряга не прицепился к нему. Остальное он потратит на мальчишек и Лору, побалуует их те-

перь, когда судебный штраф он уже выплатил. Тот прошлый раз был ошибкой, в протокол вписали не только воровство, но и святотатство, слишком уж далеко он зашел, настроил всех против себя. Обувь, куча которой валялась по пятницам у порога *завии*, казалась легкой добычей – можно прийти в одной паре, уйти в другой, проще простого, – но деньги из *закята* – это уж точно *харам*. И не попросишь теперь ни о чем ни одного из них, кроме разве что Берлина.

Проходя мимо кинотеатра, он вскидывает голову посмотреть, какие фильмы крутят: «Двойной динамит». До сих пор. А из новинок – «Камо грядеши» и «Африканскую королеву». «Камо грядеши» он глянет, а от «Королевы» воротит нос. Слишком уж много он тратит на кино; это его главная слабость, но не только – еще и школа. Где еще он мог столько разузнать об этом месте, которое решил называть домом? Здешние мечты, историю и мифы? В темном, кишасщем блохами зале он учился ухлестывать за девчонками, говорить как настоящий англичанин, выяснял, какими соседи видят самих себя и его. Кино заставило его осознать: на то, что бабье из Адамсдауна станет вести себя иначе, нет никакой надежды, – для них он навсегда останется кем-то вроде грязных кули в набедренных повязках или дикарей из джунглей, которые визжат перед тем, как быстро умереть, никого этим не огорчив, или в лучшем случае безмолвного мальчишки-прислужника, с гордостью принимающего нака-

зания вместо своего белого господина. Удивительно, что Лора плюнула на всю эту хрень и увидела, что он такой же мужчина, как любой другой. Может, потому, что ее семья – голодная, сквернословящая, с выстраданной мудростью – была не похожа на те богатые и болтливые, какие показывали в кино? Теперь-то он знает, что она из сословия прислуги, из тех, кто с одинаковой легкостью и втопчет чернокожего в грязь, и по-братски протянет ему руку. Так или иначе, заработанные на флоте деньги в его карманах определенно помогли.

Махмуд спотыкается на расшатанном булыжнике и восстанавливает равновесие, смущенно оглядываясь по сторонам. Ему не дает покоя мысль, что его походка смотрится слишком странно, враскачку; обувь велика ему на целый размер, чтобы поместились болезненные мозоли на ступнях. Здесь нельзя выглядеть легкой добычей. Нельзя выказывать слабость, а то проживешь недолго, как те надравшиеся сомалийцы, которых полицейские забили насмерть в прошлом году. Походке чернокожего Махмуд научился сразу же, как прибыл в Кардифф: стал ходить, высоко подняв плечи, выставив локти, медленно скользя ступнями по земле, уткнув подбородок поглубже в воротник и надвинув шляпу на лицо, чтобы не выдать ничего, кроме своей принадлежности к мужчинам, – человеческий силуэт в движении. Даже теперь он передергивается, проходя мимо орав валлийцев, когда те в дни регбийных матчей возвращаются из кабаков; вроде бы

все спокойно и нормально, как вдруг ему в лицо прилетает твердый, как бетон, кулак и от неожиданности из головы вышибает все слова. Гогот, пока они проходят мимо, шумный и упоенный самодовольством, напавший на него, стыд жарче топки. Другие черные матросы носят в кармане нож или бритву, но для него риск слишком велик. В полиции знают его как облупленного, могут обыскать из-за краденых часов, найдут бритву или нож – и что тогда? Два года за оружие для целей нападения. Вот он и отточил искусство быть незаметным. Ему известно, что его прозвали «Призраком», и это его устраивает, помогает в работе и напоминает героев американских комиксов, которые он выбирает старшему сыну:

Поглотителя

Черного Грома

Хрономанта

К тому времени как Махмуд входит в заведение Берлина, уже поздно; он заходил домой переодеться, пропустил мимо ушей требование платы за жилье от Дока и поспешно ушел в костюме-тройке и темном плаще. Берлин вечно вгоняет его в самокритику, у него-то вид всегда холеный, как у Кэри Гранта или еще какой звезды. Приглаживая усы, Махмуд толкает тяжелую черную дверь. Звуки калипсо заполняют зал, и от этого почему-то кажется, что в нем полно народу. Но в этот вечер понедельника клиентов здесь всего несколько: студенты в черных водолазках на барных табуретах, белая пароч-

ка, неуклюже танцующая у музыкального автомата, – их бедра движутся не в лад, рывками. Берлин застыл неподвижно за стойкой бара, вытянув руки по обе стороны, сжав кулаки на стойке и склонив голову. Задумавшись, он не сразу замечает, что напротив него на табурете устраивается Махмуд, наконец поднимает голову и устремляет на него далекий и неопределенный взгляд ореховых глаз. Лицо у него как у акулы, акулы-молота, с плоским черепом и широкими темными губами. Он хорош собой, но это опасная, холодная красота. Никогда не забываясь, он никому не дает забыться, углубившись в него. Махмуд знает, что он бросил дочь в Нью-Йорке и сына в Бораме; о детях он говорит легко, явно не испытывая ни чувства вины, ни сожалений. Эта бесстрастность Берлина нравится Махмуду. Она означает, что рассказать ему можно что угодно, и это все равно что говорить со стеной: ни потрясений, ни нравоучений, ни жалости или презрения. Берлин не ждет от жизни ничего хорошего и по-житейски мудро принимает даже худшие из трагедий. Его отца убили у него на глазах во время нападения дервишей на их клан, и, должно быть, Берлин, увидев, как перерезают горло его родному отцу, отучился цепляться за жизнь.

– Значит, опять тебя ветром сюда занесло? – спрашивает он на сомали.

– Тем же самым, которым надуло деньжат в мои карманы, *сахиб*. – Махмуд высыпает на стойку пригоршню монет. – Дай-ка мне пирог с черным кофе.

– Хороший день выдался на скачках?

– Очень даже недурной.

– Ты сегодня вечером кое-что пропустил. Полиция накрыла парочку китайских моряков с контрабандным опиумом, из ночлежки на Анджелина-стрит. Сами они тоже своим товаром не брезговали, так что в полицейскую тачку плелись на ватных ногах – они и тот любитель бибоба из университета. Здорово повеселили ребят, которые толкают травку, – еще бы, видеть, как полиция занята кем-то другим.

– Китайцы умеют хранить секреты. Должно быть, кто-то их сдал.

– Как говаривали в войну, у стен есть уши. Надолго в этом сучьем порту ничего не скроешь.

Махмуд в два укуса приканчивает свой пирог, жирный и черствый, но, к счастью, его скукоженный желудок легко удовлетворить. На кораблях он заглатывал все, что давали, и шел за добавкой, а теперь ест ровно столько, чтобы обмануть собственный мозг, заставить его поверить, будто бы он уже подкрепился.

– Как думаешь, это не тот новичок-сомалиец из Габилеи наушничает легавым? Не нравится он мне что-то.

– Кто? Саматар? Вот на его счет ты зря. У него же коленки трясутся, едва он увидит полицейскую машину. Не тот он человек, чтобы быть осведомителем.

– Стукач, – заявляет так и не переубежденный Махмуд, перекатывая это слово во рту, словно выпавший зуб. Сту-

качей он ненавидит еще сильнее, чем легавых. Сидишь себе с человеком, играешь в покер или греешь руки, обхватив кружку с чаем, и опомниться не успеваешь, как в полиции тебе повторяют все до последнего слова, что ты сказал, и, какую бы чушь ты ни нес, в каком бы подпитии ни был, все сказанное оборачивается против тебя. Начинаешь отпираться, а полицейские берут тебя за горло и говорят, что точно знают – все так и было.

– Осведомителя я сразу чую, а он не из таких, – упорствует Берлин. В разговорах один на один он ведет себя тише, ему незачем влезать на стремянку и изображать начальство, того, кто добился, кто всем показал. Дело к вечеру, и он угасает, как старый фитиль; протирает стойку нарочито медленно, кругами, проводит ладонью по глазам. Хоть волосы у него блестящие и черные, а спина прямая, ему уже за пятьдесят, и возраст начинает сказываться на нем; он уже не ходит по вечеринкам, которые только для того и устраивают, чтобы собрать денег на оплату жилья, и пользуется любым предлогом, лишь бы на выходных посидеть дома.

Его взгляд устремлен поверх плеча Махмуда, он следит за кем-то или чем-то.

– Что там? – спрашивает Махмуд и оборачивается.

– Да тот мерзавец с Ямайки, Кавер. Ну, плотник, который порезал в прошлом году Хэрсси, – вон только что был возле музыкального автомата. Если кто здесь и осведомитель, так точно он.

Махмуд прищуривается, разглядывая фигурку, шагающую по противоположной стороне София-стрит. С виду вроде не тот человек, с которым хлопот не оберешься; при ходьбе размахивает руками, трубка у него в зубах поыхивает дымом в холодном воздухе.

– С чего ты взял?

– Хэрси он три раза полоснул бритвой, а потом еще ударил разбитой бутылкой.

– За что?

Берлин воздевает руки к потолку.

– Может, ненавидит сомалийцев – кто знает? Хэрси еле выкарабкался, провалялся в больнице, кровь ему переливали раз за разом, а ямаец, слышь-ка, попал под суд, его признали невиновным, похлопали по плечу и отпустили спать домой. И сюда он носа не кажет. Осведомитель. – Последнее слово Берлин произносит так, точно сплевывает.

– Эти вест-индийцы ненавидят нас просто так, ни за что. Вот и этот змей, мой домовладелец, вечно желает мне зла.

– На кораблях – вот где начинаются все беды, а потом перебираются вслед за нами на сушу. Все мы деремса за крохи. Дурака ты свалял, если решил жить здесь. Надо было остаться со своими. Этот Кавер рано или поздно угодит за решетку, но раньше кого-нибудь прикончит.

Плотник скрывается из виду.

– Ты по-прежнему решительно против того, чтобы вернуться в море? – вдруг спрашивает Берлин. – Может, тебе

пошло бы на пользу – улеглась бы вся эта шумиха из-за *завиш*, шейх забыл бы о том, что случилось.

– С какой стати? Я хочу видеть сыновей.

– В бинокль с другой стороны улицы?

– Все лучше, чем из-за океана или даже двух, – завернув губу, огрызается Махмуд.

– Ей что, не нужно, чтобы ты деньги приносил, или как? Не принимай ты всерьез этих девчонок. Насмотрятся кино и думают, что семейная жизнь будет как длинный номер с песнями и танцами. Сплошные сюси-пусы и ути-пути. Сколько ей – двадцать? Двадцать один? Откуда ей знать, что такое отцовский долг? Ты же не хочешь, чтобы твои сыновья видели, как ты сидишь без работы и вечно на мели.

– С чего ты взял, что я на мели? – Махмуд вскакивает с табурета и хлопает о стойку бумажником. – А ну, загляни внутрь – и это, по-твоему, на мели? Да мне живется лучше, чем каким-нибудь морякам в пальто из Армии спасения и перчатках без пальцев.

Берлин закатывает глаза и подталкивает бумажник к Махмуду.

– Да сиди в Кардиффе хоть до последней трубы. Какое мне дело. Еще кофе хочешь, босс?

Махмуд кивает и отирает ладонью лоб. У него колотится сердце, он не может объяснить, почему так боится, что в конце концов взойдет на борт какого-нибудь судна и не сумеет сдержать обещание, данное сыновьям. Поведет себя, как все

остальные, словно плавающий мусор, который ничто и нигде не держит.

– Ты же игрок, тебе известно, что порой просто надо дать судьбе одержать верх. – Кофеварка шипит и выпускает пар, роняя последние капли в белую чашку. – Я не рассказывал тебе, что со мной случилось, когда я ездил в Нью-Йорк в 1919 году? – с улыбкой спрашивает Берлин.

Махмуд пожимает плечами.

– Я попал туда из доков Барри, славно послужил в торговом флоте в Первую мировую и был еще юнцом, но считал себя вроде как героем, пыжился, как раз начал отпускать усы. Судно разгрузилось в Нью-Йорке и ушло в сухой док, ну, я и сошел на берег вместе с жалованьем, которое так и норовило прожечь дыру у меня в кармане. Схожу и встречаю цветных красоток в мехах, чулках с вырезами чуть ли не до икр, с лентами в гладких волосах, и говорю себе: что?! Что я делал в кочегарке среди вонючих мужиков? Чуть ли не целую жизнь даром потратил! А девчонки эти были с юга, они и посоветовали мне поехать в Харлем, мол, самые шикарные и заводные места все там, и вообще для негра прямо рай. Говорю, везите меня туда сейчас же. Едем мы на такси, потому что я хочу покрасоваться, и останавливаемся у какой-то закуской, чтобы подзаправиться. Еда как вся еда у них, и тут свинина, и там, но я нахожу что пожевать, а одна из девчонок ну прямо куколка, так бы и расцеловал, и вот она льнет ко мне и смеется, и я к ней, и тоже смеюсь – хе-хе-хе, все зубы

наружу, и напрочь забыл про корабль, про увольнительную и про все на свете. Я ведь месяцами к женщине не подходил... а эти девчонки и поют для меня, и заказывают еще и еще, видят проходящих подружек и зазывают их к нам, и я все жмусь к ним да хохочу. Мы доедаем, а они и говорят: а вот там-то вечеринка! Едем! И Луи там будет, и Фэтс, и белые богачи с хорошим контрабандным виски. Плачу за всех, снова берем такси, а то моя девчонка говорит, что у нее ноги болят, и едем мы на эту вечеринку на Лексингтон-авеню, и не вижу я там ни Луи, ни Фэтса – только приглушенный свет, потрясающая музыка и крепкое пойло. И я плыву, теряю в толпе мою девчонку, и опомниться не успел, как по мне уже топчутся, танцуют всюю, а я валяюсь на полу. Пить я умею, ты же знаешь, и я задумался, что же это за американская выпивка такая, если от нее меня так развезло. Хочу найти свою девчонку и схватиться за ее ноги, вот и ползу через толпу, думая, что узнаю ее красные туфли. Но их я так и не нашел, в итоге меня выкинули с вечеринки. Просыпаюсь на улице, и знаешь, что? Девчонки эти обобрали меня дочиста, в бумажнике осталась только карточка моряка, напоили, а потом обчистили. Поплелся я в центр, поближе к порту, но показываться капитану было стыдно, так что пристроился в одном из котлованов, где строили новый квартал и новый небоскреб. Сижу я, значит, жалею себя, смотрю на воду и держусь за голову, и вдруг кто-то как толкнет меня сзади. Вскокиваю, думаю, сейчас будет драка. А тот человек

смеется, я и говорю: чего скалишься-то? И кулаки заносу. Не признал? А с какой стати мне тебя признавать? Гамбург, пятый год, говорит он. Я так и попятился, думаю, не может быть, а он изображает, как достает стрелу и стреляет в меня, и тут-то я вспомнил его имя. Тайайаке.

Махмуду кажется, будто он вернулся в *дугси* – в школу и учитель Корана расхаживает туда-сюда, и рассказы омывают его высокими волнами.

– И кто это был?

Блеснув глазами, Берлин делает паузу, чтобы залпом выпить эспрессо, и продолжает:

– Нам понадобится вернуться в тысяча девятьсот пятый год. В Гамбург, Дойчланд. Я и еще сотни других наших перебрались через море и сушу, потому что нам сказали, что в Европе есть хорошая работа. Завербовал нас один сомалийский *далаал* – агент, который рыскал по всей территории кланов Хабр Авал, и Гархаджис, и Варсангели и искал таких людей, как мы, готовых пойти за ним. Я был мальчишкой, безотцовщиной, и, когда услышал, сколько народу из моего клана уезжает туда, моей старой матери было нипочем меня не удержать. Наш скот пал, из-за дервишей мы даже приблизиться к прежним колодцам не могли, так что жизни в верблюдах оставалось лишь на пару недель, и матери было нечего дать мне. Вот мы все – дряхлые и новорожденные, священники *вадаады* и ткачи, *сулдаан* и его слуги, горшечники и поэты – и поднялись на борт *дау*, идущей в Аден. Да-

лаал не скупился на сладкие речи – мол, дойчей так поразили рассказы об отважных сомалийцах, что они непременно захотели увидеть нас во плоти, так что нам достаточно лишь показать им, как мы живем, и они набьют наши карманы золотом. С собой в *дау* мы везли наши седла и копыя, молитвенные коврики и подголовники, горшки и другую утварь – все, что у нас только было! Прибываем мы в Гамбург, а на пристани нас уже ждет фотограф. Его вспышка срабатывает, младенцы поднимают крик. Мы знакомимся с большим боссом Хагенбеком, он везет нас к себе в особняк, разрешает встать лагерем в его длинном зеленом саду. Я валюсь на траву и смотрю, засыпая, как женщины связывают деревянные каркасы для шатров, а когда просыпаюсь, вижу в щелях ограды маленькие белые лица, слышу хихиканье и шепот. Пугаюсь мелких беловолосых *джиннов*, убегаю в один из уже поставленных *акалов* и сижу там, а тем временем все больше и больше *гаалло*⁴ сбегаются поглядеть на нас.

– *Астагфируллах*, – смеется Махмуд, – прямо как здесь по другую сторону железнодорожного моста.

– Нет... нет, это было что-то другое, они смотрели не так, как на чужаков, потому что их лица или одежда кажутся странными, – смотрели, будто сомневались, что мы в самом деле существуем, *валлахи*, Аллахом клянусь. Глаза у них были вот такие... – Берлин растягивает пальцами верхние и нижние веки, широко раскрывая глаза, – и они следили за

⁴ Неверный, немусульманин (*сомали*). (Прим. пер.)

каждым нашим движением. Смотрели на нас, будто мы созданы их воображением, будто все они во власти галлюцинации.

– Так что это был за человек там, в Нью-Йорке?

– Вот к нему я и веду! Несколько дней мы пробыли в том саду и за это время увидели больше белых лиц, чем листьев на деревьях. Нас заманили в засаду, но твердили, чтобы мы жили как обычно, как в Африке. В Африке? Где это, спрашивал я. Никогда такого слова не слышал. У нас было укромное местечко, чтобы справлять свои дела, и что же оказалось? Немецкие мальчишки, мои ровесники, да и мужчины, хотя, казалось бы, уж им-то пора быть умнее, забирались на деревья, чтобы подглядывать за нами. Когда Хагенбек велел нам собирать вещи, мы возблагодарили Аллаха – *субханаллах!* – и так и поступили, только отправились не домой, а в турне. Мы шли к вокзалу, а наши враги бежали за нами, норовили потереть нашу кожу, будто ждали, что чернота отвалится, дергали детей за волосы, хватали вещи, которые мы роняли, и убегали с ними. Дикари. Нас ждал специальный поезд, на платформе были зебры, слоны, обезьяны, азиаты, африканцы, американские индейцы, австралийцы – все собрались вместе, как в Судный день. Мы участвовали в каком-то карнавале, нас собрали со всех уголков земли, чтобы выставить напоказ в Берлине. Сажая в поезд, нас пересчитали, чтобы никто не потерялся, но внутри царил полный хаос. Сумасшедший дом – смешение языков, полуголые люди, во-

пящие дети. Я проталкивался в толпе, отыскивая себе место, и, когда другие сомалийцы остались позади, наконец нашел тихий вагон. Вокруг меня сидели только мужчины с похожей на гребень полосой волос на голове, прямо передо мной оказался парень почти моих лет с луком и стрелами в руках. Я плотнее закутался в свои три метра хлопковой ткани и сел – сурово, с жестким взглядом, но парень заулыбался, протянул мне руку, и я пожал ее.

– Это был тот, который нашел тебя в Нью-Йорке?

– Он самый, Тайайаке, мохок из Канады. В Берлине мы были неразлучны, сидели рядом, пока нас измеряли – в смысле, измеряли каждый *дюйм* нашего тела, фотографировали нас сидя и стоя, разглядывали так и этак, мазали гипсом наши лица, чтобы сделать и сохранить маски. Это не шло ни в какое сравнение ни с чем! Мы чувствовали себя королями. Соперничали друг с другом в играх, которые нам устраивали, глазели на девчонок, спешащих на конкурс красоты. *О Аллах*, мы понятия не имели, что для них мы мало чем отличаемся от слонов или зебр. Несколько инуитов умерло там, так немцы забрали трупы, выварили и выставили на обозрение в музее. Даже упокоиться с миром было нельзя. Потом Тайайаке уехал в Америку, скакал там на высоте среди стальных балок, а я ушел в море. Нигде не нашлось земли, которую мы могли бы назвать своей и зажить в достатке.

– Так ты считаешь, что мне надо в небо или в море?

– Ты же моряк, разве нет? Незачем тебе цепляться за этот

осколок кремня, который здесь называют страной. Погрейся у топки где-нибудь в Индийском океане и возвращайся с чистой совестью и деньгами в карманах.

– Никуда я не поеду. Дьявол свою родню не бросит. – Махмуд улыбается.

– *Докон иё малаггиса лама кала рээб каро*, дурень и его судьба неразлучны, – вздыхает Берлин. – Ступай тогда, сынок, мне закрываться пора.

Махмуд сползает с табурета, берет шляпу, а Берлин вдруг оборачивается и хлопает себя ладонью по лбу.

– Теперь понимаешь, как я постарел? Разболтался о том, что было тысячу лет назад, а отдать тебе вот это чуть не забыл. – Из ящика, полного бумаг, он вытаскивает голубой конверт, доставленный авиапочтой.

«Махмуду Хуссейну Маттану, на адрес молочного бара Берлина, Кардифф» – гласит аккуратная синяя надпись. Пятишиллинговая одноцветная марка с лицом покойного короля и картой Британского Сомалиленда сразу дает понять, кто отправитель.

Махмуд опять тяжело садится.

– *Хоойо* – от матери. – Он вздыхает, признавая поражение.

– Мать – она всегда догонит, хоть на другой конец света убеги, – смеется Берлин. – Прочитать его тебе?

Махмуд согласно машет рукой. Ни он, ни его мать не умеют ни читать, ни писать, но она как-то умудряется через все пространство и время вливать свои слова ему в уши. Он жи-

во представляет, как она сидит в очереди к одному из писцов возле Управления общественных работ, как на грубо отесанном табурете помещаются ее хрупкие косточки, а длинные одежды свисают, чуть-чуть не доставая до пыльной земли, усыпанной листьями эвкалипта. Воспоминания о матери камнем ударяют его в спину, он сутулится над стойкой, прячет лицо.

– Изобразить ее голос?

– Ножом в спину захотел?

Берлин усмехается, затем прочищает горло, вскрывает тонкий конверт и начинает читать нараспев:

«Мой последыш, мое сердце, мои колени, моя печень, последнее благословение моего чрева, я молюсь за тебя по пять раз на дню, прошу Бога, чтобы он явил тебе свой самый милосердный лик. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Скажи *«аминь»*. Я ходила к прорицателю, и он сказал, что ты жив и здоров, и все трое твоих прекрасных сыновей в добром здравии, и их мать тоже. *Аминь. Аминь.* Я увидела в Харгейсе больше матросов из Кардиффа, чем могу пересчитать по двум рукам, и узнала от них, что ты постоянно переезжаешь. Да успокоит Аллах твои ноги и да утешит тебя, пока ты не вернешься ко мне. Когда уже твои мальчишки подрастут настолько, чтобы увидеть мое старое лицо? Не то чтобы в нем сохранилась красота, но рядом со стариками обретаешь благословение. Не знаю, сколько еще мне отпу-

щено времени, но буду поститься и молиться до последнего вздоха. Мой сын, не забывай свою веру, свой *дин*, я женщина неученая, но одну *килми*, науку, могу с уверенностью передать тебе: нет гавани и приюта надежнее, чем у Аллаха. Никогда не забывай об этом. Твои братья передают тебе привет и просят сообщить, что подали заявку, чтобы выиграть концессию на первый кинотеатр в Харгейсе. Не знаю, им разрешат или тем головорезам, их соперникам, но если у тебя есть что вложить, – *машаллах*, а если нет, я передам им, что ничего не выйдет. Кое-кто из матросов возвращается таким богатым, сынок, что я надеюсь: когда-нибудь и ты выйдешь из вагона с чемоданами, детьми и довольной женой.

А теперь – *набадгельо иё сафар салаама*⁵.

Твоя мать».

Берлин сворачивает письмо и кладет его перед Махмудом.

– Есть мужчины, которые только называют себя поэтами, а у твоей матери дар от природы.

– Слова ей служат стрелами.

– Поэзия – это война, чего же ты ждешь?

– Перемирия.

– Тебе правда оно не нужно?

– Нет, оставь себе.

Берлин проводит большим пальцем по сгибу письма и сует его в карман.

– Когда-нибудь ты поймешь... когда твоя мать уже будет

⁵ Мира и спокойного пути (*сомали*). (Прим. пер.)

лежать в земле и никто не станет молиться, плакать и заботиться о тебе так же, как она. Тогда и будешь согревать сердце письмами вроде этого.

– Тогда и поглядим... – отзывается Махмуд, надвигая фетровую шляпу пониже на лоб.

Перевернув табличку на двери, Берлин взгромождается на барный табурет и закуривает, его силуэт возникает и снова пропадает в свете мигающих лампочек музыкального автомата. Пол вымыт, касса опустошена, кофеварка вычищена, времени осталось лишь на то, чтобы всласть посмолить последнюю сигарету, пока Лу не подняла крик, зовя его в постель. Он и рад бы отделаться от мыслей, но они беспорядочно мечутся туда-сюда – счета надо оплатить, в суд вызывают за азартные игры на улице, воспоминания о воскурениях давно умершей матери вдруг ощущаются отчетливо, как сигаретный дым, и так же четко вспоминается младенческий рот уголками вниз – рот его американской дочери. Он встает, выдвигает ящик за стойкой, достает старую открытку с Эмпайр-стейт-билдинг во время метели, проштемпелеванную десять декабррей назад. Печатными буквами на обороте Тайайаке желал ему хорошего Нового года и сообщал, что, кажется, видел Люсиль на детской площадке в Борум-Хилле, выглядела она здоровенькой и по лестницам карабкалась не хуже какого-нибудь монтажника. Открытка лежала в этом ящике с тех пор, как пришла, каждый день Берлин думал,

что вот сегодня ответит на нее, но почему-то так и не собрался. Бруклин отошел в прошлое, достался тому, кем он был, пока Закон Джонсона – Рида не очистил Америку от таких людей, как он. Он силится поддерживать жизнь в давних словах; друзья, любимые и даже дети словно растворяются, когда он отворачивается, и возникают обрывками в его сновидениях и в тихие минуты, чтобы предъявить на него права.

Махмуд стоит на Дэвис-стрит, сквозь дыру в тюле на подъемном окне глядя, как его семья готовится ко сну. Тонкая и угловатая, его жена стоит, пристроив Мервина на бедре и покачиваясь, чтобы убаюкать его; ее каштановые волосы блестят при свете лампы с оранжевым абажуром. Ее мать рядом, они разговаривают в своей резкой манере, размахивая руками. Омар и Дэвид в трусах и майках скачут на постели, устраивая кавардак. Если бы он вошел, они принялись бы карабкаться на него, как мартышки на дерево, и смеялись бы как помешанные, а их мать пыталась бы испепелить его взглядом. Она и была, и *остается* грозным противником, способным утверждать, что темное – это светлое, а светлое – темное, и так зла на него, что напустила бы все ветхозаветные казни, если бы могла.

Он потерпел поражение. Это стекло между ними обозначает расстояние, которое незаметно, но, несомненно, росло все пять лет брака. Он знал – нет, пожалуй, не знал, а чувствовал, да, чувствовал, – что она встречается с другим. Он

вроде бы заметил ее выходящей из кинотеатра с каким-то чернокожим, довольно светлым, с тонкими усиками; да, лица его спутницы он не видел, что правда, то правда, не смог за ними угнаться, но сложена она была так же, как Лора, и с волосами того же цвета. Она так изменилась за последние пять лет: и в бедрах, и сверху немного налилась. Перестала быть плоской как доска, но острый язычок сохранила и могла изранить мужскую гордость быстрее кошки-девятыхвостки. Когда они впервые встретились в каком-то городском кафе, в волосах у нее поблескивала изморось, а кожа была немногим темнее беломраморной стойки. Ее глупая сестра тогда устроилась на ночлег у магазина меховщика, чтобы первой купить поддельную норку или шиншиллу, когда утром начнется распродажа. Лора заказывала пару чашек чаю, когда почувствовала его пристальный взгляд. Стрельнув в него глазами зеленого оттенка морских водорослей, она снова затеребила застежку сумки. Он не знал, что сказать, в то время его английский все еще был скудным, его хватало лишь для машинного отделения, однако он не хотел, чтобы она ушла, а он даже не попытался привлечь ее внимание. Ему понравилась ее красная шляпа, то, как волосы загибались снизу у лица, твердость носа над мягкими розовыми губами, как стильно она носила свою дешевую мешковатую одежду. Наконец он осипшим голосом выговорил: «В кино хочешь пойдём?» Потом она еще долго будет передразнивать его акцент и неуклюжее приглашение, но в тот раз согласилась пойти с ним на

свидание, а три месяца спустя они поженились. Свои встречи они не афишировали. Лора сказала только своей сестре, он вообще не удосуживался посвящать других сомалийцев в свои дела – зачем? Чтобы услышать от них, что она обдерет его и бросит, оставив голым и босым? Или однажды вдруг переменится и назовет его грязным ниггером? Или что так и не научится смотреть как следует за его детьми и будет пичкать их свиной и вареной картошкой?

В день их свадьбы он сделал крюк, чтобы купить белую гвоздику на лацкан своего коричневого пиджака, и, когда прибыл к бюро регистрации, застал Лору взвинченной, с красными глазами. Ее бабка прихрамала из долин Южного Уэльса, чтобы помешать свадьбе, но ничего у нее не вышло, и всю церемонию она просидела на деревянном стуле в дальнем конце комнаты, читая Библию и взывая: «Господи, помилуй наши души!» Все прошло слишком быстро и беспорядочно, и теперь, по прошествии времени, он понимает, что должен был явиться с визитом к ее родителям, дать им понять, что он не какой-нибудь каннибал, уже приготовивший для их дочери кастрюлю, должен был купить ей кольцо, давать ей больше денег на жизнь, пока он в море. В глубине души он считает, что она так и не простила ему уход в плавание сразу после поспешного завершения брачных клятв, да еще в чужой постели, или то, что он провел вдали от нее восемь месяцев, перебираясь из Кении на Цейлон, потом в Малайзию, Австралию и обратно. Это был самый выгодный

контракт в его жизни, но право же, и ему он недешево обошелся.

В каком-то смысле они все еще друзья, изредка выходят пройтись вместе, его все еще ждут в гости в любое время. И у них едва не получилось, они чуть было не посрамили всех, кто предрекал им печальный финал. Кто еще смог бы вломиться вот так в дом белых? Входить через дверь с чемоданом и улыбкой? И все благодаря Лоре. В ее гладком гибком теле таилась огромная сила – это невозможно отрицать. Вот была бандитка. Закрывала дверь в их каморку и знала, что их прекрасно слышно всем. От этого он любил ее еще сильнее. Худшим, пока он жил в этом доме, были встречи с ее отцом ночью на площадке – оба в трусах, вид у него такой, будто больше всего ему хочется столкнуть чужака с лестницы. Но даже он в конце концов смягчился, находил Махмуду работу кочегара и заявил Лоре «как постелешь, так и поспишь», когда прошлым летом она захотела развода.

3. Саддекс

– О, видела бы ты вот это!

– Что? Покажи.

Дайана расправляет газету как следует и поворачивается, показывая ее старшей сестре.

«Женщина, заставшая мужа в дамском белье, получила развод».

– Ну и болван!

– Не понимаю, зачем люди женятся, если для них это всего лишь забава, в самом деле не понимаю, – говорит Вайолет, жадно бегая взглядом по печатным строчкам.

– Ты только послушай – а ты заткни уши, Грейси! «На муже было не только белье жены, но и те предметы, которые он купил специально для себя».

– Ох, позорище, как же он мог так поступить с ней?

– И вот еще... «она заподозрила неладное, заметив, что верхний ящик ее комода неуклонно пустеет», – у Дайаны вырывается смешок, от неожиданности Грейс роняет нож. – Забирай газету, я же знаю – ты обожаешь такие статьи. – Она кидает «Эхо» в сторону Вайолет и берет за нож и вилку.

– Не *обожаю*, просто читаю и радуюсь, что так и не вышла замуж.

– Да уж, вот так попадешь в «Эхо» – сразу поймешь, что ошиблась в выборе.

– Как думаешь, кто-нибудь из наших мужчин способен так же чудить? – шепчет Вайолет, прикрываясь газетой от Грейс.

Дайана вскидывает брови:

– Держу пари, что да. Мужчины есть мужчины, и этим все сказано. Нет конца дурацким выходкам, на которые они способны.

– Даже *фрум*?⁶

– Эти особенно! Религиозной женщине я еще доверюсь, но религиозному мужчине – ни за что. Просто они лучше умеют скрываться, как по мне.

– Но ведь Бен был не таким, правда?

– Да, но он был святым. А еще – сентиментальным до-нельзя, не умел подолгу хранить секреты и врать, в общем, такой был забавный.

– А тут дальше еще хуже... да еще женщина на этот раз! Подала на развод, хоть и выселила мужа в садовый сарай и пустила в супружескую постель квартиранта. Судья отказался рассматривать ее заявление о том, что муж ее оставил, и объяснил, что это она его оставила. Ну и наглая же баба.

– Вот это *хуцпа*.

– О нет... Еще одно ограбление со взрывом гелигнита в Лондоне. Ювелира, который делал оправы для бриллиантов в Мейфэре, – следов проникновения со взломом нет, но сейф взорван, и тридцать тысяч фунтов похищены, за последние

⁶ Религиозные евреи (*идши*). (Прим. пер.)

двенадцать месяцев это уже шестое нападение одной и той же банды.

– Знаю я, к чему ты клонишь, Вайолет. Но разве такая банда польстится на гроши в нашем сейфе? Их даже на ужин в «Савое» не хватит.

– А если местным придет в голову то же самое? Думаешь, после войны трудно раздобыть гелигнит? Да его же полным-полно припрятано по всей стране.

– Ум у тебя как подводная лодка, нет таких глубин паранойи, которые были бы для нее недостижимы.

Вайолет медленно поворачивает голову, окидывает сестру пренебрежительным взглядом.

– А ты чересчур наивна. Этот мир меняется лишь к худшему, так что остается либо не обращать на это внимания, либо делать все, что можешь, чтобы защититься.

– Вот уж наивной меня никак не назовешь. Просто я стараюсь заикливаться не на потрясающих ножами маньяках, бандах с взрывчаткой и всевозможных катастрофах, а на чем-нибудь приятном. Кстати, о приятном... Пурим!

Грейс поднимает голову и словно оживает после долгого молчания.

– Мам, а ты научишь меня танцам в линию? А бархат для юбки ты нашла? Тетя Вайолет уже сделала мне корону.

– Еще нет, я искала пурпурный, а пока попадались только красные и синие. Но не волнуйся, я успею, и сахара я сэкономила достаточно, так что сможем испечь не меньше трех

кексов, да еще с настоящими яйцами от миссис Ллевеллин.

– Ручаюсь, ты будешь красивее настоящей царицы, – улыбается Вайолет.

– Очень на это надеюсь! Сара тоже будет царицей, и я хочу выглядеть лучше, чем она.

Открытка со взморья еле держится сбоку на шкафчике; липкая лента, которой она приклеена к лакированному палисандру, иссохла и пожелтела. Смотреть на нее настолько привычно, что она замечает только силуэты и цвета: толстый мужчина и тоненькая девочка, мешок, из которого сыплотся золотые монеты, облачко для текста, повисшее между ними. Это ее отец повесил сюда открытку, почему-то забавляясь ее легким пренебрежением к таким людям, как он сам, хозяевам ломбардов и заимодавцам. Ей открытка была ненавистна, но убрать ее означало убрать и отпечаток его пальца, сохранившийся между липкой лентой и глянцевым голубым картоном, и смех, краткими порывами вылетающий из его зарубцованных легких. Эти драгоценные реликвии были необходимы, чтобы напоминать ей: их лавка – не тюрьма, а святилище, изобилующее метками ее жизни и жизни ее родных. Она придвигает к себе рулон дорогой белой тафты и вспоминает, как мягко отец говорил, что очень хотел бы раскроить эту ткань ей на свадебное платье, но подобно ей самой, тафта осталась нетронутой, так и пролежала у стены вместе с другими роскошными отрезами. Она разворачи-

вает целлофановую упаковку и оценивает состояние товара: шелк стал немного ломким и тонким по краям, впитал запах сырости от стен, но, к счастью, дыр в нем нет. Еще одна импульсивная отцовская покупка – порадовать глаз красотой, вместо того чтобы положить деньги в кассу. Пощупав ткань, она прикидывает, как сошьет из нее платье для Грейси на Пурим – все лучше, чем тафта так и проваливается здесь без дела, думает она. Их покупателям такая роскошь не по карману. Она открывает один из крошечных ящичков в шкафу с разной галантереей и находит разрозненные стеклянные бусы, перламутровые пуговицы, блески и ленты. Она могла бы расшить ими прелестный лиф из дешевого синего плюша, а тафту пустить на пышную юбку. Отец наверняка улыбнулся бы, увидев Грейс в таком роскошном наряде, ведь сам он изо дня в день носил одни и те же твидовые брюки и жилет, а подштанники штопал и латал до тех пор, пока на них живого места не оставалось. Не из тех они были людей, чтобы баловать себя; только малышка Дайана овладела искусством хорошо одеваться – наверняка потому, что все детство проходила в чужих обносках. До Пурима еще шесть дней, в выходные ей хватит времени дошить платье и порадовать племянницу неожиданным подарком – парой эмалевых браслетов.

По Бьют-стрит грохочет трамвай, поднявшийся ветер барабанит в оконные стекла. Одно большое – настоящее викторианское, на закате отбрасывает искаженное отражение на стену. Другое пришлось заменить в сорок седьмом, когда ка-

кой-то солдат швырнул в окно лавки кирпичом, чтобы отомстить по своему разумению за двоих британских солдат, которых Иргун повесил в Палестине. До дурня явно не дошло, что один из этих двоих тоже был евреем. Розенбергам в Манчестере пришлось еще тяжелее. Пабы закрылись в те банковские каникулы из-за нехватки пива, и какая-то шпана воспользовалась снимками мертвых Томми на первых полосах газет как предлогом, чтобы разгромить столько еврейских лавок, сколько нашлось в Читем-Хилле. Потрясение, которое испытала Вайолет в ту летнюю ночь, когда разлетелось стекло в их окне, еще живо: от каждого неожиданного грохота или лязга ее нервы натягиваются туго, как струны. Она терпеть не может время закрытия соседних заведений, когда улицы наполняются мужскими криками, звоном разбитых бутылок и руганью, а между матросами, докерами и рыбаками с траулеров вспыхивают драки.

Этот клочок земли, отвоеванный у болотистой низины и все еще жидкий глубоко под фундаментами, – их единственное убежище. Однако сырость ползет вверх по стенам домов, подтачивает их, предостерегает, что им здесь не место и что когда-нибудь их домом вновь завладеет море.

Кажется, что дождь не прекращается ни на минуту, и сегодня льет сильнее обычного, струйками стекает на тротуар с насквозь промокшего парусинового навеса над входом в лавку. Вайолет выглядывает в окно как раз в тот момент, когда мимо проезжает такси: дворники скользят по стеклу ту-

да-сюда, внутри хорошо одетая пара страстно целуется, закрыв глаза. Открыв дверь, она выходит подышать минутку свежим воздухом; даже в такую погоду компания мальтийских моряков стоит возле их ночлежного дома и беседует во весь голос. Дальше по улице мистер Зюссен высовывается из дверей, озабоченно присматривается к переполненной сточной канаве перед его ломбардом. Он похож на персонажа из Библии: длинная белая борода свисает до пупа, рослое, нервное, плоскозадое тело живет, кажется, уже не первый век, унылое лицо обычно глядит равнодушно – десятилетием больше, десятилетием меньше – из застекленной будочки кассы. Вайолет любит и его, и всех персонажей, среди которых выросла, любит их цельность и приземленность. Налетает ветер и бьет, сырой и холодный, ее по щекам. Еще один день закончился, шепчет она себе под нос, потом закрывает дверь.

Взглянув на наручные часы, она видит, что минутная стрелка дрожит почти у восьми, и, когда уже собирается запереть все пять замков, две молодые, броско покрашенные женщины шагают из-под дождя под навес.

– Паршивый вечер! А я, как назло, забыла зонт дома. Можно нам заскочить на секунду, мисс Волацки?

Вайолет узнает обеих: девушки из кафе. Сплошь перекись и румяна.

– Ох, не следовало бы мне, ведь закон о времени закрытия вступил в силу и так далее, ну ладно, входите, только пожи-

вее.

– Спасибо, дорогуша, – говорит Мэри.

– Вам чем-нибудь помочь?

– Шарф будьте добры, не для того я столько билась с укладкой, чтобы явиться в паб, как мокрая шавка.

– Укладка чудесная, – улыбается Вайолет, окинув взглядом обесцвеченное подобие нимба вокруг головы Мэри. – Идите сюда, выберите, какой вам нравится.

Пока Мэри примеряет шарфы перед зеркалом, повязывая их то так, то этак, Маргарет подходит к прилавку.

– Знаете, мисс Волацки, я, пожалуй, заодно посмотрю пару туфель для своей старшей. Ступни у нее растут, словно она каждую ночь сует их в удобрения.

– Кожаных?

– О нет, обойдется и парусиновыми, все равно и месяца не пройдет, как понадобится новая пара.

– Скоро нас перерастут, – говорит Мэри, обдирая облупившийся лак ногтем большого пальца.

– Какой у нее размер?

– Кажется, первый, или чуть меньше.

Вайолет наклоняется над коробками, вытащенными с полки, корсет врезается ей в живот. Она еще не разобрала эти коробки, руки не дошли, и вот теперь ей приходится рыться в беспорядочной куче парусиновых туфель на резиновой подошве.

– Первого размера я не нахожу, Маргарет. – Вайолет с

громким вздохом выпрямляется и встает. – Но я точно помню, что где-то у меня они были, так что приходите утром, и мы вам что-нибудь подыщем.

Мэри повязывает голову новым шарфом, глядя в зеркало, проверяет, не испачкала ли зубы губной помадой и оборачивается к Вайолет, сияя самой ослепительной из своих улыбок.

– Раз уж я зашла, возьму заодно невидимки и коробок спичек, – говорит она, протягивая монеты.

– Ладно, мисс Волацки, я приведу ее к вам утром, чтобы заодно уж сразу и примерить. Извините за беспокойство, – отзывается Маргарет.

– Ну, что вы, никакого беспокойства. Будьте осторожны, не промокните под дождем.

– Ничего с нами не сделается, нам только до паба добежать, нас ребята ждут.

Они открывают дверь, и входит ночь: шлепают шины по мокрому асфальту, несет кунжутным маслом и жареным мясом из китайского ресторана Сэма Он Вэня, металлически позвякивает калипсо с пластинки, тонкие тени жмутся к автобусной остановке, затаившись на корточках.

– Пока, мисс Волацки.

– Доброй ночи.

– Сколько же угля ты бросила в камин, Дайана? Здесь прямо тропики. – Вайолет обмахивает лицо, входя из лавки в соседнюю столовую.

– Сначала выставь эту ногу вперед, затем другую... ох, ну попробуй еще разок... – Дайана держит Грейс за руки, Грейс пошатывается в материнских туфлях на высоких каблуках. – Для того, чтобы сохранить равновесие, надо стоять прямо, но колени не сжимать.

Радио громко играет Хэнка Уильямса, трещит пламя в камине, раскаленный докрасна уголь рассыпается, ударяясь о решетку.

– Я попросила маму научить меня танцам в линию, – кричит Грейс через плечо и спотыкается о материнскую ногу.

– Только не ушибись, Грейси, еще успеешь в жизни находиться в неудобной обуви. – Вайолет протискивается мимо них в кухню и моет руки.

– Грейси, давай прервемся и поедим. – Дайана вынимает дочь из туфель с перепонкой и усаживает на стул во главе стола.

– От вчерашней говядины ничего не осталось? – спрашивает Вайолет, вытирая руки посудным полотенцем.

– Нет, к сожалению, сегодня утром я сделала с ней бутерброды для Грейси.

– Ничего, я и без нее найду, чем нас накормить.

Сегодня вечером на столе пустовато, но в кладовой есть покупной заварной крем, а во фруктовой вазе – несколько груш.

Едва Вайолет садится, в дверь лавки звонят.

– Да не открывай, и все. Уже десять минут как закрыто.

Утром придут, – вздыхает Дайана.

Вайолет медлит в нерешительности, но все же встает. Этот звонок и лавка подчиняют ее себе так, что она не в силах сопротивляться.

– Должно быть, кто-то из постоянных покупателей. Я сейчас, только выясню, кто это и что ему надо.

– Смотри только, чтобы еда не остыла.

– Я недолго.

Грейс рискованно откидывается назад на стуле, глядя, как ее тетя проходит по тускло освещенной лавке и отпирает входную дверь. Дайана успевает придержать стул дочери, пока тот не опрокинулся.

– Сядь как следует и ешь.

За пару секунд они успевают увидеть цветного мужчину, стоящего под дождем на крыльце, а потом Дайана закрывает дверь столовой, спасаясь от холодного сквозняка.

4. Афар

– Миссис, вы не убавите музыку? – спрашивает тяжело отдувающийся полицейский в форме, возникая в дверях столовой. Свою черную каску он прижимает к животу, его веки подрагивают.

– Выключи приемник, Грейси. Чем могу помочь? Опять сработала охранная сигнализация?

На его лице отражается замешательство.

– Нет... произошло несчастье. С вашей сестрой.

– Что?.. – Дайана выглядывает из-за его плеча и видит в лавке других людей. – Прошу прощения... – говорит она, мягко отстраняя полицейского с дороги.

Грейс сбрасывает туфли на каблуках и в белых носках спешит за матерью.

– Что происходит? – Дайана переводит взгляд с одного незнакомого лица на другое.

Мужчины поднимают головы и оценивающе смотрят на нее.

– Мои соболезнования, миссис Танай. Мы только что прибыли. Ее обнаружил вот этот джентльмен, когда зашел за сигаретами. – Детектив указывает на мертвенно-бледного старика в кепке.

Холодный ночной ветер раскачивает входную дверь, и, только когда Грейс направляется вслед за матерью к кассе,

Дайана замечает на полу кровь, пропитавшую подошвы носков ее дочери – белых, с оборочками.

– Стой! – кричит Дайана.

Она оттаскивает Грейс, затем заворачивает за угол, к северной стороне лавки. Вайолет лежит лицом вниз, освещенная низкой лампой с застекленного шкафа, кровь забрызгала белые стены вокруг нее.

– Вайолет, вставай! Что случилось, дорогая? – Дайана порывисто наклоняется, чтобы поднять сестру, думая, что она ударилась головой и потеряла сознание, но, отведя волосы в сторону, видит длинную зияющую рану у нее на шее. Отшатнувшись на каблуках, она кричит: – Кто это сделал?

Полицейский в форме помогает Дайане подняться и просит ее увести Грейс обратно в столовую.

– Неужели вы правда ничего не слышали, миссис Танай?

– Нет! Нет! – Дайана лихорадочно озирается в поисках Грейс, но та все еще у прилавка с кассой, поднимает сначала одну ногу, потом другую, разглядывая красные пятна на носках. – Не смотри, детка, не смотри!

Она прикрывает глаза Грейс ладонью, но сама, не удержавшись, оглядывается – на отпечатки рук и коленей, ведущие в глубину ниши, где хранятся коробки с обувью и где лежат, перевернутые вверх толстой подошвой, туфли самой Вайолет.

Осторожнее, Гвилим, в крови топчешься. Приблизитель-

ственники видели на крыльце какого-то черного прямо перед тем, как все случилось. Обойдите все ночлежки для цветных. Останавливайте все суда, покидающие порт. Они тут рядом прямо плач по покойнице устроили. Такой у них обычай. Вы уже сделали все снимки, какие надо? Судя вот по этим отпечаткам, она пыталась спастись. Стало быть, мы имеем дело с настоящим злодеем. Знаете, они ведь собираются завтра же похоронить ее. Сначала вскрытие. Вообще-то тут и так все ясно – да, шеф? Здоровенные резаные раны на шее. Что-нибудь пропало? Пока неизвестно, но наверняка. Прибыла машина из морга.

Барух даян га-эмет. Потерпи, Дайана, Господь тебя утешит. Ты правда в это веришь? Грейс, иди сюда, посиди у меня на коленях. Да ты совсем холодная, детка. Закрой глаза, прислонись ко мне. Я уже всех обзвонил, все едут. Господи. Равви Герцог уже выехал из Римни. Они меня сметут. Мне их ни за что не сдержать. Кто-то у задней двери. Это Джошуа, кантор из синагоги.

– Да утешит вас Всемогущий среди скорбящих Сиона и Иерусалима.

– Я сразу вижу, когда человек под гипнозом.

– Но как, Док?

– Тебе ли не знать, Манди! У тебя на родине, в Гамбии, ведь есть обиа, так? Не одни же там только бонго и джунгли.

Раздражение вспыхивает в раскосых глазах гамбийца. В этом доме он самый образованный из всех, в шестнадцать окончил школу при миссии, но Док то и дело норовит его принизить. Резко выдохнув, он потирает бугристый келоидный рубец на шее, где несколько пружинистых волосков врастают в кожу, ввинчиваются в нее, как миниатюрные сверла. В тусклом свете кажется, будто на голове Манди надета плотно прилегающая коричневая шапка; волосы сбриты под острыми углами на висках и шее и набегают на лоб, пока не останавливаются внезапно несколькими сантиметрами выше кустистых бровей.

– По мне, гипноз – это другое. Его показывают старые хрычи в белых куртках.

– Необязательно. Хоть в варьете, хоть у стариков в белом – типа подчинить и заставить во всем признаться, – понимаешь, к чему я веду? Это мощная штука. Если уж попался, ты *под ним*.

– Так как же ты это видишь, Док?

– В газетах-то все черным по белому. «Бледность, вид как у помешанного, апатичная реакция», и я в море повидал людей, которые могли вытворить что угодно, а потом были не в состоянии объяснить ни черта, а теперь этот доктор Франкенштейн решил представлять такое в Новом театре. – Док Мэдисон тянется к тумбочке за кучкой таблеток, которые обычно глотает в восемь вечера. Его кровать с железными столбиками, заваленная подушками и цветастыми стеганы-

ми одеялами, имеет вид восточного трона, оплота величия и мудрости, а пурпурная шелковая пижама Дока лишь усиливает царственную атмосферу. Он ушел с торгового флота, купил этот обветшалый дом в ряду точно таких же, на улице за тюрьмой, а затем улегся в постель и нагло пренебрег законом белых, продолжая получать государственное пособие и при этом сдавать комнаты в аренду. Док живет и спит в гостиной, вместе с Джекки. Его квартиранты шутят, что эти двое в постели – готовое пособие для студентов-медиков: вот так выглядит молодое сердце, вот какой становится печень старого моряка, вот пухлая здоровая матка, а вот обвислая старческая мошонка.

– И что ему сказали?

– Чтоб поискал другое место! Они еще в своем уме.

– Загипнотизируешь хоть дядьку, хоть тетку – и приказывай им что хочешь, отдать бумажник или ключи от дома, и влезай девчонке в трусы без ее причитаний, что папаша ее убьет, или вопросов, сколько у тебя припрятано. Мощная штука.

– Думает, он важная птица, ведь он еще и доктор медицины, но какой доктор будет просить деньги с порога, да еще захочет антракт? Мошенник, вот какой. Подбрось-ка еще угля, малец, прямо до костей пробирает, да еще проклятый дождь льет всю ночь.

Манди ворошит кочергой оранжевые угли, потом берет большой брикет угля и бросает его подальше в камин.

Входная дверь рядом с комнатой Дока грохает так, что трясутся хлипкие окна с подъемными эдвардианскими рамами и сквозь щели в гнилом дереве в дом влетает свирепый сквозняк. Весь дом такой же немощный и хворый, как его хозяин: сырость ползет все выше по шелушащимся стенам, кишки водопроводных и канализационных труб урчат и страдают засорами, прохудившиеся и обмотанные там и сям газовые трубы изрыгают вонь.

– Чтоб его черти взяли! Зачем так хлопать дверью?

Манди презрительно втягивает воздух сквозь зубы и ерзает, снова уместаясь в ямы, продавленные его мышцами в красном бархатном кресле, и скрывая своим телом проплешины на обивке и видимые части остова. По голым сосновым половицам коридора слышны шаги, оба мужчины устремляют возмущенные взгляды на дверь.

Как и ожидалось, медная ручка поворачивается, в комнату входит Махмуд: дождь придал лоска его черному шерстяному пальто, расшил его блестками, с хомбурга стекают струйки на единственное ковровое покрытие во всем доме.

– Ну, надо же, вот и он, прямо как смерть с косой. – Манди окидывает Махмуда взглядом от залысин до мысков остроносых туфель.

– Так и будешь дубасить мою дверь, пока не треснет? Ты хоть знаешь, во что встанет замена?

– Да остынь ты, Док, ничего твоей деревяшке не делается. – Махмуд широкими шагами проходит по комнате и са-

дится на обитый твидом диванчик. Порой ему приходится напрягаться, чтобы разобрать резкий ямайский акцент Мэдисона.

– Смотри не намочи обивку!

Кинув взгляд на домовладельца, Махмуд снимает пальто и кладет его, свернув лицевой стороной внутрь, на подлокотник рядом.

– «Эхо» у тебя есть?

– Ну как, сегодня повезло? – спрашивает Док, бросая ему газету.

– Слегка, – никаких других ответов на этот вопрос он никогда не дает, не хватало еще, чтобы кто-нибудь совал нос в такую деликатную сферу, как его *насиб*⁷.

– Слегка – значит, можешь оплатить жилье вперед за следующую неделю.

– Нет, это если бы я сразу выиграл много. – Он медленно переходит от страницы к странице, разглядывает хорошеньких девушек в рекламах, листает газету наоборот, от конца к началу, как будто она на арабском.

– Пальто новое, – это утверждение, а не вопрос, и Манди переводит взгляд с Махмуда на его пальто. Он подносит распечатанное цветами блюдо к губам и с хлопаньем выпивает пролитый на него чай.

– Оно старое.

– Я вроде бы видел, как утром ты уходил в этом своем

⁷ Удача, везение (*сомали*). (Прим. пер.)

старом спортивном пиджаке.

– Переоделся.

– Ты что, Золушка, – крутанулся на месте и на тебе уже другая одежда? – встревает Док.

Махмуд улыбается.

– Что скажете насчет завтрашних скачек?

– В четырнадцать часов интересные лошади, от Старого Табаско, с хорошим жокеем-шотландцем, и все такое.

Махмуд просматривает список; по-английски он читает еле-еле, но любит делать вид, будто читает бегло, вдобавок он разбирает несколько знакомых кличек и все цифры.

– Этот пройдоха Рори Харт опять попал в газету – за пьянство и нарушение порядка, – Док скалит крокодильи зубы, – значит, говорит он судье, мол, хотел только оттолкнуть лодку⁸, – он смеется, выдыхая через ноздри, – а почтенный судья ему: «Что же помешало вам оттолкнуть ее снова?» И знаешь, что отвечает ему Харт? – У Дока вырывается смешок, эхом отдается от стен. – «Так эта лодка затонула». *Эта. Лодка. Затонула.*

Все трое смеются удачной остроте докера.

– Да уж, надо быть ирландцем, чтобы сказать такое судье! – Хихикнув, Манди чуть не давится чаем.

Прихватив пальто, Махмуд пользуется случаем, чтобы улизнуть, пока Док не завел все ту же песню про плату за жилье, или про дверь, или уголь, который сам собой с улицы

⁸ Раскошелиться или развлечься. (Прим. пер.)

не придет, или про молоко, пролитое на кухонный стол.

В своей почти пустой комнатушке Махмуд снимает костюм в узкую полоску и вешает пиджак и брюки на покореженную проволочную вешалку. Его тонкие носки промокли на мысках и пятках, но он их не снимает, боясь лечь в постель – при этом ему всегда кажется, будто он ныряет в ледяную воду. Раньше этим вечером он пытался встретиться с той русской, черноволосой воровкой, которую заметил в пабе «Ведро крови». Она старше его, умнее и злее, между ними вспыхивают опасные искры. Хоть он и давал себе зарок, что больше не будет видеться с ней, сам не заметил, как очутился перед ее красной дверью. Но ее не оказалось дома, наверное, крутила шашни с каким-нибудь другим болваном. Надо ему просто порвать с этой женщиной и позаботиться, чтобы Лора о ней никогда не узнала.

Сделав глубокий вдох, он ныряет под шерстяные одеяла, его жилистые руки и ноги передергиваются, когда хлопковая простыня норовит лишить его и без того жалких остатков тепла. Ворочается в постели, старается разогнать кровь, но холод сильнее его. Уминая кулаком древнюю затхлую подушку, чтобы придать ей хоть немного сносную форму, Махмуд вдруг вздрагивает от громкого стука во входную дверь.

Слишком позднего для хороших вестей, слишком дерзкого для кого угодно, кроме полиции.

Слышатся тяжелые шаги Манди, потом скрип двери.

– Привет-привет, извиняюсь...

– Инспектор! Пожалуйте, пожалуйста.

У них на меня ничего нет и быть не может, думает Махмуд. Наверняка это из-за того нового ямайца наверху – Ллойда, или как там его: говорит, что боксер, а сам никогда не тренируется и в боях не участвует, только сидит наверху да курит травку, выпуская дым в окно.

Док повысил голос, Махмуду отчетливо слышно его через стену.

– Детектив Лейвери! Что привело вас сюда в такую гнилую ночь? Я прилагаю все старания, чтобы мое заведение было приличным, христианским, и очень, очень расстраиваюсь, когда что-нибудь в нем возбуждает у вас подозрения.

– Для чрезмерного беспокойства нет никаких причин, мистер Мэдисон, ваш ночлежный дом не единственный, куда мы намерены заглянуть сегодня. Ваши жильцы все дома? – У Лейвери сильный валлийский акцент, голоса этих двоих вместе звучат как у лорда и его егеря из комической радиопостановки.

– Думаю, да, детектив, но у нас наверху новенький, а он вроде как сам собой, извиняюсь, сам по себе.

– Нам надо побеседовать с каждым, мистер Мэдисон.

– Он здесь, здесь, – уверяет Манди.

– Начнем с Маттана.

К нему стучат еще до того, как Махмуд успевает надеть брюки.

– Кто там? – кричит он.

– Полиция. – Его застают одетым в трусы и майку. Знакомые лица. Моррис и Лейвери.

– Чего вам? – Махмуд застывает прямо перед ними.

– Где вы были этим вечером? – спрашивает Лейвери, а тем временем Моррис, пошарив повсюду взглядом, уже щупает пальто Махмуда.

– В «Центральном».

– Какие фильмы смотрели?

– Про корейскую войну и ковбоев.

– В какое время вы покинули «Центральный»?

– В половине восьмого, – обернувшись к Моррису, Махмуд резко спрашивает: – А ордер у вас есть?

Не обращая на него внимания, Моррис продолжает рыться в карманах пальто.

– Какой дорогой вы вернулись домой?

– Мимо бань.

– В кино вы были один? Видели кого-нибудь из знакомых?

– Да. Нет.

– Вы проходили сегодня вечером по Бьют-стрит?

– Нет.

– Вы носите с собой нож, Маттан?

– Нет.

– Нам предстоит обыскать вашу комнату, Маттан.

– Зачем?

Моррис хлопает по карманам пиджака, висящего на спинке стула, и находит сломанную бритву.

– Раньше я брился ею. Она не так давно сломалась.

– Другая бритва у вас есть?

Махмуд указывает на туалетный столик.

Лейвери берет со столика безопасную бритву и осматривает лезвие. И кладет на прежнее место, ничего не сказав.

– У вас есть деньги?

Моррис показывает несколько серебряных и медных монет, найденных в карманах пальто.

– Куда вы ходили после кино?

– Сразу пошел домой. – Махмуд напрягается, а Лейвери и Моррис лапают все подряд. – Что вы ищете? Зачем ходите к мне? У вас нет ордера.

– Не надо наглеть, ордер нам не нужен. Сегодня на Бьют-стрит совершено тяжкое преступление, подозревается цветной.

Махмуд фыркает:

– Почему сразу цветной?

– Вы должны сказать нам правду, где были сегодня вечером, Маттан. Дело гораздо серьезнее ваших прежних краж из магазинов.

– Я с вами не говорю. – Махмуд хватается брюки, расправляет их и быстро сует ноги в штанины.

– Убили женщину. – Лейвери смотрит ему в глаза.

– Вы лжете. Все полицейские – лжецы.

– Лучше придержите свой длинный язык. Еще раз спрашиваю: где вы были сегодня вечером?

– Ничего я вам не говорю.

Моррис трогает обе пары туфель, стоящих у постели, потирает пальцы, ощущая влагу.

– Если услышите что-нибудь, обязательно зайдите в участок и сообщите нам, понятно?

Махмуд стоит навтыяжку у своей двери, пока они не уходят, потом тяжело садится на кровать. Спокойная ночь испорчена. Что это за женщина, которую убили? Нет конца вранью, которое они плетут, лишь бы осложнить жизнь чернокожему.

Услышав шум, он подходит к двери и выглядывает в коридор. Верхний жилец, ямаец, дерется с полицейским в форме и явно побеждает. Лейверы и Моррис с грохотом сбегают по ступенькам и ввязываются в драку. Повернувшись к Манди, который ошарашенно застыл посреди коридора, Махмуд пожимает плечами и закрывает свою дверь, отгораживаясь от хаоса.

Сомертон-Парк, стадион для собачьих бегах. Ньюпорт. Махмуд целует корешки билетиков со ставками, которые держит в правой руке, и идет к окошку тотализатора забирать выигрыш. Бумажные фунты ложатся один на другой, пока между ним и кассиром в кепке не вырастает стопка из двадцати таких купюр. Вот он, заработок за десять недель, пухлый и легко доставшийся, бумажки хрустящие, с острыми краями: тронь – обрежешься. Хватит и на жилье, и на Ло-

ру с детьми, и на какое-то время ему на жизнь; пачка такая толстая, едва вмещается в его изголодавшийся бумажник.

– Похоже, удачный у тебя выдался день, Сам, – говорит кассир, который выдает ему выигрыш и курит при этом трубку.

– Сам? Меня зовут не Сам.

– Да я всех ваших называю «Сам».

– Всех наших? И что это значит? По-твоему, это смешно – звать нас «Самбо»? Да я тебе череп разобью. – Махмуд хлопает ладонью по стойке, и кассир в испуге отшатывается.

– Я никого не хотел обидеть, – уверяет он, выставляя вперед ладони.

– Кусаете первыми, а потом распускаете нюни. И так всегда. – Он качает головой, бросает монеты в карман брюк и оглядывается на беговой круг. Скоро еще один забег, новые собаки уже выстраиваются за воротцами, тяжело дышат, пар вылетает из их разинутых пастей, и он ощущает возбуждение со всех сторон, предвкушение того, что пьянит сильнее победы. Нет-нет, не глупи, одергивает он себя, заставляет переставлять ноги и вскоре возвращается на безлюдную улицу, направляясь к автобусной остановке.

На семьдесят третьем, идущем до Королевской больницы, он проезжает через центр Кардиффа и глядит в запыленное окно, как в кинотеатре на экран, полностью отделенный от его разоренной войной, унылой неприкаянности. На

залатанные шпили, на деревянные ручные тележки, на чahlых цыплят и окровавленных кроликов, вывешенных в витринах у мясников, на матерей, со свирепым самозабвением везущих младенцев в колясках, на широкий, цвета слоновой кости купол мэрии, почерневший от копоти, на витрины магазинов с их буквами, которые болтаются, как сережки, на веревочках, на чайные с дежурным блюдом за два пенса, состоящим из хлеба с маслом и чашки чая, на заколоченные окна, на обнесенные заборами разбомбленные здания. Тяжко здесь живется, если у тебя в кармане нет денег; он порадовался бы, если бы все здесь снесли подчистую, как хотят снести доки. И непонятно, почему они смотрят на Бьюттан свысока, если им самим почти нечем похвастаться. Бэй возникает из промышленного дыма и морской дымки, словно древняя окаменелая тварь, выходящая из воды. Можно пройтись вдоль доков и поглазеть на матросов с попугаями или обезьянками в самодельных курточках – их держат или на продажу, или как память, можно пообедать китайским рагу *чоп-суй* и поужинать йеменской *сальтой*, и даже в Лондоне не найти таких симпатичных девчонок – с предками со всех континентов мира, – какие запросто попадают в Тайгер-Бэе.

Другой Кардифф для него означает хождение по замкнутому кругу между заводом, домом и пабом, тяжелое, как у ломовой лошади. Он не может, нет – не хочет скатиться до такого. Лишаться фунта из заработка каждую неделю по ми-

лости ворюги, который считает, что ты должен быть благодарен уже за то, что вообще работаешь. Подметать, чистить, даже близко не подходить к машинам, потому что тогда тебе придется назначить плату, как другим людям. Ужас столовых в том, что посетители щупают тебя, как раба на торгах, спрашивают, оттого ли ты черный, что вылез у матери из задницы, и от нарастающего волной смеха желчь подкатывает к горлу. Розовую солонину и вареный картофель подают с гарниром «англичанин, ирландец и ниггер заходят в бар». Белые сами по себе несчастны, раздражены и ожесточены, но обращаются с тобой так, будто это ты стал для них последней каплей. А ведь он не то что другие сомалийцы, которые когда-то спали рядом с верблюдами и знают жизнь только как жесткое ложе из шипов и камней. Нет. В детстве он всегда спал с удобством, на индийском матрасе, утром его ждала чашка молока с сахаром, мать вливала текучие строки своей поэзии ему в уши, хваля его. Благодарности с их стороны он не чувствует. Берет два шиллинга и пять пенсов с кивком и улыбкой, хоть у него раскалывается спина, ноздри забиты пылью, пальцы не гнутся и костяшки кровоточат. Белые для него – ничего особенного, он знает их с малых лет, когда таскал холщовые мешки с сахаром и чаем в колониальном клубе Харгейсы и подбирал теннисные мячи на сожженном засухой корте. Он умеет смотреть им в глаза и пререкаться, но это все равно трудно. Трудно.

– Уходи из моего дома.

– О чем ты говоришь, Док?

– Не собираюсь я с тобой разводить разговоры, у тебя две недели, чтобы собрать пожитки и найти другое жилье.

Манди сидит в кресле и ухмыляется.

– Знаешь, что я сейчас сделаю, приятель? Заплачу тебе вперед за следующие восемь недель. Заплачу хорошие деньги за твою сырую долбаную комнату.

– Сырую? Всем остальным она годится, а ты откуда выискался такой важный? С тобой одни неприятности с тех пор, как ты шагнул на порог. Сколько раз ко мне уже стучалась полиция, разыскивая тебя? – Док с отвращением втягивает воздух сквозь зубы. – У меня от тебя давление подскакивает, парень, я тебя предупредил, а теперь оставь меня в покое.

– Прошлой ночью они же не *меня* искали, – возражает Махмуд, отделяет от стопки столько купюр, чтобы хватило на следующую пару недель, а потом бросает их на тумбочку у кровати.

– А в другие разы? – огрызается Док.

Махмуд пожимает плечами и покидает комнату.

Направляясь во двор, в уборную, он проходит в кухне мимо подружки Дока.

– Чего он всполошился?

Руки у нее по локоть в муке, она месит тесто для хлеба, набивное платье в цветочек обтягивает мускулистые плечи, брови припорошены белым. Рослая, крупная девчонка, ка-

кие по вкусу старикам, простая и добрая, как корова. Он слышал, в прошлом году она попала в газеты, потому что Док ушел в плавание и почти не оставил ей денег на хозяйство, так что в его отсутствие она продавала мебель, на выручку и жила. Едва вернувшись, Док повел ее напрямик в полицию и подал на нее в суд, но как-то вышло, что они до сих пор вместе.

– Сегодня утром приходили из местного совета обследовать дома, и теперь он думает, что это ты на него заявил. Это правда ты? – Глаза у нее блестящие, взгляд невинный.

– С какой стати?

– Вот и я ему так сказала, но ты же знаешь, какой он становится, когда вобьет себе что-нибудь в голову. Про бедняжку Вайолет Волацки слышал? Ее убил прошлой ночью прямо у нее в лавке какой-то цветной.

– Значит, так ее зовут? Это тот тип с Ямайки, которого увели прошлой ночью?

– Нет, непохоже, он отсыпается наверху – в комнате у него нашли марихуану, за это он и поплатился.

– Болван. – Махмуд сплевывает: торчков он терпеть не может – за их лень, сонливость, нежелание понимать, что в этом мире нужны вся бдительность и сила, на какие ты только способен.

– Без драки точно не обошлось, крепкая она была женщина, вдобавок всю жизнь прожила у самых доков, вряд ли она сдалась без боя. – Она шлепает тестом об стол.

– Наверное, он напал на нее сзади – вот так. – Махмуд несильно обхватывает ее за шею одной рукой, вдыхает сладкий запах пота и лавандовой воды, исходящий от ее кожи цвета кофе с молоком.

– Отстань! – Она смущенно хихикает и ерзает, пытаясь высвободиться.

Гримасы на ее лице он не видит, поэтому продолжает:

– А потом ему осталось только взять бритву и провести ей по шее вот так... – Он чиркает двумя темными, суживающимися к ногтям пальцами поперек ее твердой шеи, ослабляет захват и крадучись отступает по линолеуму, восстанавливая между ними прежнее расстояние.

Ее глаза широко раскрыты, плечи подняты и неподвижны – она напугана его прикосновениями и боится, что Манди или Док войдут и поймут происходящее превратно.

– Да иди ты! Как ты меня напугал.

– Незачем бояться. – Он улыбается и задерживает на ней взгляд чуть дольше, чем следовало бы, – достаточно, чтобы дать понять, что он гибкий, симпатичный и вдвое моложе Дока.

Это один из тех редких дней, когда Махмуд успевает застать солнце – настолько ночным стал образ его жизни. Бывают ночи, когда он является в свое временное жильё часа в четыре или в пять, находя в темное время суток больше развлечений, чем днем. Завязывая шнуры, он дает себе зарок,

что уйдет от Биллы Хана к полуночи, самое позднее – в час ночи, а утром прямиком на биржу труда. Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как у него была приличная работа; последняя досталась ему на аэродроме, где он был смотрителем – хорошая, чистая работа. От синего моря до синего неба, вот как он путешествовал, и его вновь и вновь тянуло к машинам, благодаря которым мир казался таким маленьким и доступным. Несколько месяцев он цеплялся за это место, не опаздывал и помалкивал, когда надо, но все равно продержался недолго.

Поправив свой хомбург – его теща говорит, что эта шляпа вечно напоминает ей о похоронах, – и, надвинув его пониже на лоб, Махмуд понимает, что на улицах сейчас слишком много людей, встречи с которыми он не желает: нигериец-часовщик, погнавшийся за ним из-за часов, вытасканных из кармана, долговязый и тощий еврей, хозяин ломбарда, который принял у него постельное белье, когда больше ему было нечего заложить, та русская из кафе, увидеться с которой и хочется, и колется. Сделав глубокий вдох, он выходит из дома.

Складные щиты возле газетных киосков все еще пестрят снимками из Лондона: приспущенный флаг над Букингемским дворцом, Черчилль в цилиндре чтит память покойного, новоиспеченная королева на заднем сиденье машины, неподвижный взгляд устремлен вперед. Смерть короля превращается в голливудскую постановку, хотя всем известно, что

человеком он был безвольным, избалованным с самого рождения, выхолощенным богатством и чересчур легкой жизнью.

Махмуд перепрыгивает через низкую кирпичную ограду Лаудон-сквер и идет наперерез по траве с проплешинами, мимо деревьев, увешанных веревочными качелями для детей, оставивших после себя обертки от сладостей и рисунки мелом на каменных плитах дорожки. Щурясь, Махмуд вглядывается вперед, в массивную фигуру между стволами деревьев, и ступает тише. Приближается и находит какого-то мужчину, обмякшего на скамье – голова сонно поникла, в руке с серыми костяшками сжат промасленный бумажный пакет. Между шарфом и шерстяной шапкой виднеется лицо западноафриканца средних лет, потерянного для мира. Махмуд стоит над ним, наблюдает. Это не бездомный, в слишком уж хорошем состоянии его одежда и ботинки, так почему он сидит здесь на холоде, с разинутыми карманами пальто? Рабочий. Вымотался. Задремал между сменами. «Оставь его, – велит голос в голове Махмуда, – оставь это неприкажнное чадо». Махмуд поворачивается и продолжает путь по Бьют-стрит.

Вот это место у него под ногами, на углу Анджелина-стрит, всегда привлекает его внимание. Здесь собираются любители азартных игр, здесь Хайрех приставил пушку к затылку лысой головы Шея и забрызгал его мозгами обувь Берлина. В этот самый момент Махмуд ждал возле лондонско-

го «Парамаунт-Клаба» блондинку, которая его продинамила; прождал два часа, думал, может, со временем напутал, но компанию ему в эту ночь составили только отражения огней светофоров в мокром асфальте. Был бы здесь, стал бы очевидцем того, что раньше видел только в кино, – чистой, слепой, кровавой мести. С Шеем было трудно поладить, его уже не раз предупреждали, чтобы не трогал сбережения жильцов, но кто же знал, что Хайрех способен на *такое*. Да еще открыто, с пушкой и при свидетелях! Не у каждого хватит духу. А он был готов из гордости отправиться на виселицу. Берлин потом рассказывал, что от потрясения у него чуть ноги не подкосились, что он держал на коленях голову самого близкого друга, пока того покидала жизнь, что ему пришлось вытирать с туфель белое творожистое месиво мыслей и воспоминаний, что все уличные игроки столпились вокруг и шепотом читали «аль-Фатиху», пока он закрывал Шею глаза.

Махмуд стучит холодными костяшками в стеклянную панель двери раз, другой, третий, дождь моросит, пока Билла Хан медленно, вперевалку спускается по лестнице. Нельзя, чтобы Махмуда заметили возле этого нелегального покер-клуба сейчас, когда у него условный срок, и он раздраженно бьет в стекло еще раз – за мгновение до того, как Билла Хан распахивает дверь.

– *Масала кя хэ?* – Билла Хан откидывает клок тяжелых маслянистых волос со лба и устремляет свирепый взгляд на

Махмуда.

Тот отлаивается на хинди:

– *Джанам меин йе каам хатм хога я нахи.*

Билла Хан машет рукой, впуская его.

– *Джальди каро, бхай.*

Еще один моряк, переставший ходить в плавания, Билла Хан устраивает игру в покер ночи напролет в съемной комнате и этим зарабатывает себе на жизнь, взимая по фунту с каждого игрока. Говорить по-английски он отказывается, так что они сталкиваются на хинди, которого Махмуд схватался в Адене. Махмуд закрывает входную дверь и безмолвно следует за широкой кормой индийца вверх по лестнице. Похожее на кеглю тело Хана всегда смешит его; его манера носить брюки, поддергивая их до самых сосков, усиливает впечатление узости плеч и женственной пышности бедер.

Камин сыплет искрами, сигаретный дым густыми клубами окутывает абажур с бахромой под потолком, из маленького проигрывателя льется воркующий голос Мохаммеда Рафи, который поет на хинди. Вот этот мир Махмуду по душе, его достаточно, чтобы вызвать у него улыбку. Он окидывает комнату взглядом. Шесть человек, два игрока с большими деньгами: сосед-еврей, домовладелец, и хозяин китайской прачечной. Он кивает, ему кивают в ответ.

– Нам ее отдали. Она у нас.

Ее кожа холодна, губы серы, широкая рана на шее стала тускло-розовой, сморщенной и почти скрытой под высоким воротником. Гроб, выбранный Дайаной для Вайолет, – насыщенного орехового цвета, с тонким слоем кремового шелка внутри. Почти как подвенечный наряд; стеганный шелк с тиснеными цветочками по краю. Красивых вещей для себя она никогда не хотела, всегда была чересчур практична, носила вдовий траур, хотя у нее и не было мужа, чтобы его терять, зато теперь сойдет в могилу в шикарном ящике, ни на что не годном, кроме как сгнить вместе с ней. Мужчины хотели, чтобы все было по *галахе* и чтобы Вайолет завернули в простое белое полотно, но Дайана сама пошла и купила гроб. Дом заставлен лилиями, распространяющими резкий запах из каждой вазы, кувшина и большой кружки, какие только удалось собрать. Но Вайолет терпеть не могла их тошнотворно-сладкое благоухание и оранжевую пыльцу, которая сыпалась на ее скатерти из французского льна и оставляла на них пятна. Давние друзья, обычно отказывающиеся ступить даже на мост, ведущий в Бьюттаун, явились длинными настороженными вереницами, под зонтами, с изысканными букетами и блюдами, завернутыми в старую ткань. Убийство Вайолет – эти два слова по-прежнему смотрелись в сочетании так дико и неуместно – подтвердило все их опасения насчет Бэя и вместе с тем каким-то образом придало им смелости, побудило явиться в это ужасное место и увидеть его своими глазами. Домохозяйки из Кантона, Пенарта, Эбу-Вейла,

Сент-Меллонса ахали при виде уличных азартных игр, детей-полукровок и баров-развалюх, у которых болтали женщины-развалины. Широкие окна лавки Волацки занавесили черным крепом, табличка на двери была постоянно обращена к миру стороной «Закрыто», в мальтийском ночлежном доме и кафе «Каир» по обе стороны от лавки старались приглушить шум и музыку до траурного уровня. Дайана охотно окатила бы все вокруг бензином и подожгла: лавку, дом, улицу, город, мир. Почему он продолжает стоять, чем заслужил такое? Если безобидную женщину, которая только работала и старалась заботиться о близких, зарезали, как скотину на бойне. И она истекла кровью, пока ее родные в соседней комнате резали жареную картошку и просили передать им соль. Почему она, Дайана, не выглянула проверить, что там у Вайолет, когда увидела на пороге того человека? Он показался ей незнакомым, но трудно различить лицо, особенно темное, да еще ночью и под низко надвинутой шляпой, ведь так? Надо ей было оставить проклятую дверь столовой открытой, чтобы *видеть* или хотя бы *слышать*, что происходит. А она, дура, закрыла ее. Среди каких же людей она живет, если они способны на такое, зная, что свидетели совсем рядом? Не ведающих ни страха, ни жалости, дерзких. Правильно делала Вайолет, что опасалась. Скрипя зубами, Дайана моет тарелки и столовые приборы в узкой и глубокой, как окоп, фаянсовой раковине. Она грубо орудует тряпкой, и зубья вилки впиваются ей в кожу. Ярость в ней нарастает,

как свирепая буря, то редет до дымки, то сгущается, как беспросветное месиво, забивающее легкие. В таком состоянии она способна убить, схватить маленький нож для масла и вонзить его глубоко в глаз первого встречного мужчины; только мужчины становятся жертвами ее ярости в этих молниеносных фантазиях – крупные, дюжие, которых надо истребить.

В магазине игрушек толстый пушистый медведь безвольно свисает с большого крюка на стене, и красный в горошек галстук-бабочка туго перехватывает его шею. Махмуд поднимает голову и видит два желтых глаза из стеклянных шариков и плоскую улыбку, вышитую на морде. Ростом медведь выше трех футов вместе с громадной головой и маленькой соломенной шляпой-канотье, пристроенной между ушами. Обняв обеими руками, Махмуд снимает медведя с крюка, зарывается лицом в мягкую густую шерсть; медведь изготовлен так искусно, что почти как живой, даже странно, что в нем не бьется сердце. Цена грабительская, но слишком уж давно он ничего не покупал мальчишкам, а через пару дней маленький ид – праздник. Их мать наверняка скажет, что им нужны не игрушки, а новые ботинки или кровати, но он не может удержаться от покупки бесполезных, в сущности, вещей, каких не было у него в детстве: игрушечных железных дорог, солдатиков, ударных установок, заводных обезьянок с лязгающими тарелками. Мальчишкам медведь понравит-

ся, в этом он уверен, будут карабкаться на него так же, как на отца. А Лора останется довольна темно-синим плащом, припрятанным у него в холщовой сумке, висящей на плече. Плащ двубортный, с двойной отстрочкой, атласной подкладкой и красивым широким поясом, который подчеркнет ее тонкую талию. В сумку он сунул его потихоньку, незаметно для полуслеплого хозяина лавки «А. и Ф. Гриффин». Этот отработанный фокус ему удастся даже при более пристальном наблюдении. Здесь важно все – рассчитать время, ловко сработать и сразу же уйти, малейшее замешательство или суета – и все пропало, упустишь момент или попадешься полиции.

Он не уверен, что плащ подойдет по размеру маленькому островку тела Лоры. После свадьбы он изучал его так же пытливо, как Ибн Баттута; ее зеленоватые вены отчетливо проступали сквозь веснушчатую кожу, казались разветвленными реками и ручьями. Груды были плотными и от его прикосновений покрывались гусиной кожей. Сказать по правде, в тот первый раз он причинил ей боль, оплошал, потому что совсем забыл, как это бывает с девственницей, но еще и потому, что в то время сам был злее и пользовался ее телом, чтобы мстить за каждый смешок, «ниггера» и захлопнутую перед носом дверь. Внедрялся в нее, чтобы не встречаться взглядом с ее немигающими глазами. Прямо перед знакомством с Лорой он стоял в доке в Америке, в Новом Орлеане, где даже дерьмо белых и черных полагалось разделять и где любая белая женщина могла заставить его нести ее сумки

или убить только за то, что он посмотрел ей в глаза.

Все изменилось, когда он вернулся из плавания и почувствовал, как толкается внутри у Лоры его ребенок; первой вспыхнула безотчетная паника оттого, что в этом белом теле содержится нечто столь драгоценное для него, что его *абтирис*, наследие в шестнадцатом поколении, передано ребенку, в котором смешалась кровь валлийских горняков и ирландских беженцев. Колыхание туго натянутой горячей кожи Лоры, под которой ребенок ворочался и метался, как неведомая морская тварь, изумляло его. Тогда-то ее тело и стало для него надежным приютом, уединенным святилищем, где отступали взвинченность и унижения минувшего дня. Ее шрамы, запахи и укромные местечки стали знакомы ему как собственные, пока она не начала жаловаться, что хочет побыть одна, что у нее все болит, что она постоянно беременна и ей нужна передышка. Как смешанная пара, в Кардиффе они могли снять лишь убогие комнатухи с черными стенами, а шансов на муниципальное жилье и вовсе не имели, поэтому решили начать заново на новом месте. Они перебрались в Халл и вели семейную жизнь как полагается, пока однажды, вернувшись домой со смены на сталелитейном заводе, он не увидел, что дома пусто. Бум! Она собрала чемодан и вернулась вместе с мальчишками в Кардифф. Сперва жаловалась, что жизнь рядом с ее родичами невыносима, а потом с плачем убежала обратно, заявляя, что ей без них одиноко. Вот так Лора и отняла у него свое тело, отлучила от

него, и постепенно говорить им стало не о чем, кроме как о детях, или о деньгах, или о том, что сказали ее мать или отец. Из девчонки-подростка, с легкостью говорившей «нет» родителям, Лора превратилась в женщину, которой, похоже, доставляло удовольствие говорить «нет» *ему*. Нет, нет, нет – по любому поводу. Лежа без сна в холодной постели у Дока, он слышал ее голос, а тот твердил «нет, нет, нет» на все: снова сойтись, попробовать завести девочку, перебраться в Лондон. Он не может даже допустить возможность, что когда-нибудь другой мужчина будет лапать ее, наполнять своим семенем, осквернять его храм. Все смеются над ней, говорят, что слишком уж она растянута для приличного белого мужчины, и она переходит от одного черного к другому, как у них бывает, постепенно опускаясь и становясь безвольной. Попадается тому, кто поколачивает ее или продает другим. Черные мужчины для нее как ножи, которыми она ранит саму себя, как делают дошедшие до края белые девчонки, и это доказательство, как далеко им до искупления. Нет, она не из таких, напоминает он себе; если уж на то пошло, это она нож, которым он ранит себя. Им надо оставаться в браке, чтобы она не лишилась уважения; пока они женаты как полагается, мегеры с Дэвис-стрит могут лишь судачить о ней. Но если она с ним расстанется, ее добьют.

Махмуд раньше Лоры догадался, что их брак стал для нее чем-то вроде смерти, и понял, что ей нужно время, чтобы погоревать. Он поступился самолюбием, позволил ей на-

звать их первенца в честь ее любимого брата, который съехал от родителей, настолько был ненавистен ему брак Лоры. Теперь-то Махмуд видит, как тревожит ее изменение статуса с его почти незаметными уровнями: она не пускает мальчишек в мусульманскую школу, называет их валлийскими именами, хочет крестить их и растит так же, как их двоюродных братьев и сестер. Она идет обратно по тому пути, который они проделали вместе. Недавно он заходил к ним и застал мальчишек за столом, поедающими вареные свиные ноги. Увидев скользкий жир на губах сыновей, он чуть не вывернулся наизнанку и так разозлился, что сгреб их тарелки и вышвырнул их на задний двор – *ахас*, пакость!

Другой раз Махмуд вышел из себя, когда заявил ее матери, что убьет Лору, если увидит ее с мужчиной. Лора услышала его с лестницы и разразилась потоками бранных слов в его удаляющуюся спину. Само собой, он не всерьез, и она могла бы понять, но любовь сводит мужчину с ума. Да и в таком городе обезумеет кто угодно. Взять хоть вот этого несчастного сикха, Аджита Сингха, который сейчас ждет казни в камере кардиффской тюрьмы. Спятил оттого, что белая девчонка бросила его, вот и застрелил ее возле больницы в Бридженде при тысяче свидетелей, так что судье ничего другого не оставалось, кроме как надеть черную шапочку. Чертовски дурацкий конец жизни.

С автобусной остановки неподалеку от лавки Дайана

смотрит, как главное шествие по случаю Ид аль-Адха⁹ движется от канала вокруг всей Лаудон-сквер и направляется к *завие* на Пил-стрит, в то время как соперничающее, но не столь многочисленное окружение шейха Хассана медленно плетется со стороны доков. Дети, одетые в йеменские *таубы* и головные уборы, с жестяными дисками и красной вышивкой на лифах, обгоняют взрослых и опережают их в пении. Даже христианские, буддистские, иудаистские ребята присоединились к друзьям, нарядившись в рождественские костюмы – голубые, как у Марии, и в мелкую клетку, как у пастухов, подражают арабским песнопениям-*нашидам* и особенно стараются, повышая голоса во время припева: «*Йя Аллах, йя Аллах, йя Аллах карим*». *Дарбука* держит ритм, ей вторит стук подошв сотен участников обряда. Впереди – Али Салейман, хозяин кафе «Каир», несет за одну сторону темно-синий стяг, на котором принявшие ислам жены Кардиффа вышили слова Священного Писания. Жена самого Али, Олив, стоит возле их кафе, раздавая *самосы* с мясом и напиток «Вимто» в бумажных стаканчиках. Матроны в передниках, игроки в кепках, чахлые пропойцы, тьявкующие собаки, свежие на лицо девчонки из баров и хулиганистые подростки в кожаных куртках глазают с тротуара и машут из окон. Развешаются несколько обтрепанных «Юнион Джеков», оставшихся с празднования Дня победы в Европе. Ребяшня, довольная, как она говорит, «мусульманским Рож-

⁹ Курбан-байрам. (Прим. пер.)

деством», жадно расхватывает целлофановые пакеты леденцов – и мелких, и круглых твердых, – не зная, что знаменует этот день, и не задумываясь об этом. Это предание Дайане хорошо известно из Торы: в нем такого же маленького и ни в чем не повинного ребенка, как они, следовало принести в жертву. Шея Исмаила покраснела от лезвия ножа, однако он чудесным образом не оставил раны; в руках плачущего, но непоколебимого пророка Ибрахима, исполняющего повеление Бога, ребенок молчал; в последний момент баран был ниспослан, чтобы заменить Исмаила и явить милость Божию. Празднуется и испытание, и избавление.

Приземистый купол *завии* Нуруль-Ислам виднеется за вереницей кирпичных дымоходов простых и серых домов рядовой застройки на Пил-стрит. Махмуд слышал, что мечеть, раньше стоявшую на этом месте, разрушили во время налета на Кардифф в 1941 году, и это резко выделяющееся белизной строение с заостренными арками окон заменило ее; черная краска по краям придает ему сходство с детским карандашным рисунком. Из окна доносятся голоса мальчишек в молитвенных шапочках и чалмах, они повторяют религиозные стихи с мелодичным валлийским акцентом, одноногий учитель-йеменец указывает тростью на доску, стена за ним сплошь в медальонах рукописной мусульманской каллиграфии и *китабах* – книгах в кожаных переплетах. Махмуд вытирает ноги, прежде чем войти, потом оставляет обувь в ма-

ленькой прихожей перед молитвенным залом. *Кибла* неоновно светится арабскими буквами наверху ниши. Дело к вечеру, время между молитвами *аср* и *магриб*, и зал пуст, если не считать старика, пощелкивающего бусинами четок-*тас-бих*; желтые подошвы подвернуты под него, согбенная спина кренился вправо. До Махмуда долетают обрывки произнесенных шепотом имен Аллаха: Свидетель, Друг, Создатель, Начало, Завершение.

На лестнице ноги верующих уже вытерли темный лак, обнажив бледную сучковатую древесину каждой крутой ступеньки. Махмуд взбегает по ним, скачет сразу через две ступеньки, ключи звенят у него в кармане. Он останавливается на втором этаже, где устроена комната для деловых встреч с персидскими коврами и плоскими арабскими подушками. Первыми он видит их ноги, вытянутые в его сторону ступни в носках; закипает серебряный самовар, от него запотевают незавешенное окно. На щеках вздуваются бугры от *ката*, привезенного замороженным из Адена, так что теперь он сухой и едкий, но его все равно жуют, если не ради удовольствия, то в силу привычки.

– *Йа салам!* Поглядите, кто вернулся, – говорит смотритель мечети Якуб.

– *Ассаламу алейкум, кеф хак?* – Махмуд растягивает губы в широкой улыбке. – С утра пораньше сегодня жевать начали?

Некоторое время все молчат.

– Ливерпульские докеры бастуют, так что сегодня работы нет, – это Ибн Абдулла, бывший алкоголик, у которого теперь видна темная мозоль на лбу – так часто он бьется им о молитвенный коврик.

– Совсем стыд потерял, ибн Маттан? Явился на место преступления, – это снова Якуб; он встает, заслоняя от Махмуда чемоданы и пароходные кофры, расставленные вдоль дальней стены. Они готовятся к *хаджу* в Мекку, в багаже полно *садаки*: нейлоновых рубашек, хлопковых трусиков и лифчиков, упаковок пенициллина и аспирина, сухих молочных смесей для детей, английских словарей и детских учебников. Махмуд задается вопросом, какая часть этих вещей дойдет до бедных, которым они предназначены, а какая будет подарена родным и близким. Заметив, что он смотрит на чемоданы, Якуб цитирует *хадис*, проклинающий воров и обрекающих их на самые глубины *кадааб*, преисподней.

– Я просто взял их на время.

Йеменцы смеются.

– *Кебир, о кебир, йа Иблис!*

– И я всегда плачу долги. – Махмуд лезет в карман.

– Ты бы поосторожнее, Махмуд, а то дьявол у тебя на левом плече скоро выбьется из сил, записывая все неприятности, в какие ты ввязываешься. Пожалел бы ты его.

– Что ж, пусть, по крайней мере, что-то одно вычеркнет. – Он поднимает наличные над головой. – Вот это видишь? – И он вкладывает их в ладонь Якуба, шлепнув по ней. – Я при-

бавил немного в счет моих пожертвований. – Махмуд принимает картинную позу в центре круга – выпячивает грудь, вскидывает голову и насмешливо салютует портрету имама Ахмада бен Яхьи, висящему над камином. Портрет настолько скверный, что пучеглазый, одурманенный наркотиками, незначительный король Йемена похож скорее на гнома, чем на *джинна*, которым якобы считается, на *джинна*, избежавшего бесчисленного множества покушений, предпринятых завистливой родней, республиканцами и фанатиками.

Выходя на прохладный воздух, Махмуд чувствует, что на душе у него стало легче, но и в бумажнике тоже, причем заметно, и это его тревожит. Так всегда и бывает. Большой выгрыш утекает чуть ли не за одну ночь. Его пиджак пропитался сильным запахом благовоний, которого внутри мечети он не ощущал. Его мать вечно твердила, что это признак скверны – не любить священный запах *унси*, однако от него у Махмуда по-прежнему болит голова.

Кажется смешным и нелепым тащить плюшевого медведя по узкой Дэвис-стрит, где все небольшое расстояние между девятым и сорок вторым домами его сопровождает колышание штор и стук поспешно захлопнутых дверей. Адамсдаун настроен более высокомерно и недоброжелательно, чем Бьюттаун, немногочисленные местные жители с черной и коричневой кожей загнаны в горстку ветхих ночлежных домов. Это здесь живут с семьями ирландцы-докеры, сгорбленные

рассыльные и страдающие от недосыпания фабричные рабочие, живут в домах рядовой застройки, возведенных из коричневого кирпича и купленных на муниципальные ссуды, выплачиваемые в течение пятнадцати лет жестоких лишений, с призраком принудительного отчуждения собственности и сноса, зависшим где-то за морем. До сих пор единственным сомнительным явлением, в самом деле принесенным с моря, стали иностранные моряки. Махмуда всегда корбило, что мать Лоры, Фэнни, в бытность его жены девочкой-подростком велела ей переходить на другую сторону улицы, если иностранец хотя бы попытается заговорить с ней, а когда Лора спрашивала, что ей делать, если он пойдет за ней, следовал краткий ответ: «Визжать». При виде Махмуда никто не визжит, однако не ощущается недостатка в невнятных оскорблениях, косых взглядах, смешках, грязной воде, выплеснутой в его сторону женщинами, камушках, брошенных их малолетними сыновьями. Он живет здесь потому, что здесь живет Лора вместе с родителями и младшими братьями и сестрами – в доме, в который во время налета попали осколки германской бомбы, оставив на память о себе протекающую крышу и паутину трещин на окне в ванной. Махмуд стучит медным дверным молотком в синюю дверь и снова подхватывает на руки медведя и сумку. От топота ножек Дэвида по коридору у него учащается дыхание.

– Мама, мама! Папа за дверью! – кричит мальчик, расплющив нос о матовое стекло и оставляя на нем влажный

отпечаток.

Слушая голос сына, Махмуд смеется, каждое туго скрученное, сплошь в узлах, сухожилие его тела расслабляется, и он лишь теперь, вздохнув свободно, замечает, какими скованными были его легкие.

– Подожди меня, – слышится голос Лоры, но Дэвид хватается за дверную ручку, поднимается на цыпочках, вытягиваясь всем телом, и сражается с замком.

Наконец он побеждает, и Махмуда охватывает и гордость, и страх.

– Папа! – пронзительно кричит Дэвид, вырывается из дома и барахтается, подхваченный отцовской рукой.

– *Ааббо*, – поправляет Махмуд на сомали, – называй меня «*ааббо*», – но сейчас не до слов, сын тычется в него, нюхает везде.

– Мишка мне? – спрашивает он, хватая огромную плюшевую игрушку.

– Тебе и твоим братьям, да.

– Нет, мне!

Махмуд ставит Дэвида на пол и отдает ему медведя, но тот слишком велик, мальчишка теряет равновесие и падает под своей ношей, как будто поваленный ею, но довольный.

– Ну и куда прикажешь девать вот *это*? – Лора выходит из гостиной, укачивая у голой груди Мервина.

– Да куда захочешь, девочка моя, – улыбается Махмуд.

Она закатывает глаза и шлепает в мужских шерстяных

носках обратно к кушетке.

– Ш-ш, Омар засыпает наверху.

Махмуд идет за ней, помогая Дэвиду тащить медведя, голова которого волочится по полу.

Огонь в камине пылает, но в комнате Лора одна, с кружкой чая и газетой, пристроенной на деревянном подлокотнике кушетки.

– А где твои родители?

– Вот то-то и оно. Вода только что закипела, иди налей себе чашку, если хочешь. – Выглядит она осунувшейся и усталой, ремешок наручных часов стал свободным и беспокойно болтается на ее тонком запястье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.